Библиотека журнала «Голос Эпохи»

Елена Семенова

ЧЕСТЬ – НИКОМУ!

Том III.
ВЕРШИНЫ И ПРОПАСТИ

Елена Семёнова

Честь – никому! Том 3. Вершины и пропасти

«Selfpub.ru»

2017

Семёнова Е. В.

Честь – никому! Том 3. Вершины и пропасти /
Е. В. Семёнова — «Selfpub.ru», 2017

Книга Елены Семёновой «Честь – никому» - художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход… Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил. На страницах книги читатель встретится, как с реальными историческими деятелями, так и с героями вымышленными, судьбы которых выстраивают сюжетную многолинейность романа. В судьбах героев романа: мальчиков юнкеров и гимназистов, сестёр милосердия, офицеров, профессоров и юристов, солдат и крестьян – нашла отражение вся жизнь русского общества в тот трагический период во всей её многогранности и многострадальности.

© Семёнова Е. В., 2017
© Selfpub.ru, 2017

Содержание

Глава 1. На Москву! 5
Глава 2. Крушение 19
Глава 3. Девятый день 38
Глава 4. За деревьями леса не видно… 57
Глава 5. Орлиная песня 75
Глава 6. Понужай! 93
Конец ознакомительного фрагмента. 105

Глава 1. На Москву!

30 июня – 3 июля 1919 года. Царицын

И во что превратили цветущий волжский город за время лихолетья! Какой только дряни не понабилось в него: батьки и атаманы, шулера и спекулянты, комиссары, матросы и прочая «гордость революции» – вся эта публика месяц за месяцем в эшелонах с награбленным добром тянулась в Царицын со всего Юга России, спасаясь от победоносно наступающей Белой армии и превращая город в центр своей тирании. Похвалялись большевики, что никогда не взять «красного Вердена» Добровольцам. Что ж, и впрямь тугонёк орешек дался. Ещё в Восемнадцатом пытались овладеть им казаки атамана Краснова, но, не поддержанные в ту пору Добровольческой армией, города освободить не сумели. И Кавказская армия немало времени истратила, чтобы крепость эту, укреплённую, с гарнизоном крупным и хорошо вооружённым, одолеть. Сколько славных воинов полегли здесь! В дорогую цену обошёлся «красный Верден»… Но и какая же огромная победа была!

Поутру восемнадцатого стали появляться на улицах люди. Смотрели испуганно, насторожённо прислушивались к доносящемуся с окраин города оружейному гулу. Всё население походило на того тяжело больного, что отнятый от смерти всё ещё не может до конца поверить этому чуду, и оттого радость его ещё робка, к самой себе недоверчива. А катил народ – на Соборную площадь. В храм. День был воскресный, и там служили благодарственный молебен. Прежде торжественные службы совершал здесь епископ Дамиан. Несколько дней назад он, старец, должен был бежать и скрываться, спасаясь от большевистского террора. Вместо него служил настоятель собора, счастливо освобождённый накануне из тюрьмы (около неё, в овраге нашли тысячи тел убитых) армией-победительницей. Прерывался голос седого священника, и струились неудержимо слёзы по впалым его щекам. Плакали и люди, собравшиеся в таком множестве, что запрудили саму площадь, так как в соборе не достало всем места.

– Спаси, Господи, люди твоя! – тысячеголосно, торжественно пели, крестясь истово.

Пели, а глазами нет-нет, а косились на высокую, поджарую фигуру в чёрной черкеске с мягкими, блестящими генеральскими погонами. Этот человек, в котором сосредоточилась теперь вера освобождённого им города, стоял среди народа, окружённый немногочисленной свитой, неподвижный, погружённый не то в молитву, не то в свои мысли.

Грохнул разрыв где-то совсем рядом с городом, зачастила громовая перебранка орудий. И замерла на мгновение площадь – струнно нервы натянулись, того гляди оборвутся от напряжения. Но выводил невозмутимый хор:

– И благослови достояние Твое…

И вторили, заглушая канонаду, опускаясь на колени. И вместе со всем народом, как один из тысяч этих людей, стоял на коленях, опустив смиренно обнажённую голову, их освободитель, их герой. И когда служба окончилась, он вышел из храма и с церковного крыльца обратился к собравшимся с короткой приветственной речью, обещая горожанам защиту и покровительство армии.

И прорвалась робевшая дотоле радость. Вся площадь, озарённая ярким июньским солнцем, преобразилась, расцвела во мгновение ока безудержным счастьем. Под звон колоколов люди, забыв все страхи и горести, плакали и смеялись, незнакомые друг другу, обнимались, христосовались, как на Пасху. Грянул торжественный марш, явились откуда-то в количестве удивительном цветы. И это людское море теснилось к автомобилю в котором уже сидел её герой. Лицо его оставалось сдержанным, сосредоточенным. Лишь изредка сколь-

зила по губам едва заметная, какая-то особенная, неповторимая улыбка, и теплом полнились льдистого цвета глаза…

Прорвавшись из этого восторженного окружения, автомобиль генерала покатил к вокзалу, куда вот-вот должен был прибыть Главнокомандующий. Пётр Николаевич предчувствовал непростой разговор. Простых уже давным-давно с Деникиным не бывало. Натянулись отношения – и чем дальше, тем хуже. Посматривал Врангель на царицынские улицы, носившие на себе приметный отпечаток пережитого. А ведь как давно уже надо было город этот взять! Ещё в начале года, по освобождению Северного Кавказа горячая выдалась полемика с Деникиным. По плану Антона Ивановича освободившиеся части Кавказской армии должны были отправиться на подмогу Май-Маевскому в Каменноугольный бассейн – на харьковское направление. На Царицынском же оставить лишь слабый заслон по линии Маныча. Нелепица явная! Очевидно представлялось Петру Николаевичу Царицынское направление главнее харьковского. Именно на этом направлении – ключ к Волге! К Волге, к которой с другой стороны победоносно наступают армии адмирала Колчака, задерживаемые, между прочим, угрозой удара с левого фланга. Соединение двух армий и дальнейшее продвижение единым фронтом – какая цель может быть важнее? Нет, оказалось, Каменноугольный бассейн важнее единства сил. Доказывал Романовский, что оный жизненно необходим, что направление харьковское – кратчайшее к Москве, а потому должно считаться главным. И разбивались горячие доводы Врангеля и верного его начштаба Юзефовича, как об стену. И не удалось убедить ни в чём. Так и двинулись – на харьковское…

А война жестчела. Много повидал Пётр Николаевич и в Японскую, и в Германскую, а зрелище этой, усобной – в ужас приводило. Сатанел народ. Даже дети. Ещё на Тереке встретил барон нескольких нарядно одетых казачат с винтовками. Лет по двенадцать, не больше.

– Куда идёте, хлопцы?

– Большевиков идём бить, тут много их по камышу попряталось, як их армия бежала. Я вчерась семерых убил!

И кровь похолодела от вида этой победительной, горделивой радости от убийства в детских глазах…

Отступавшие большевики оставляли после себя разорённые города и деревни. На станциях, на путях железнодорожных скопились забитые больными и мёртвецами поезда. Они лежали на полу, едва прикрытые, прижавшись друг к другу подчас – несколько мертвецов окоченевших, а среди них ещё живой обречённый… И вокруг поездов, в дорожной грязи – как рассыпаны – тела людей. Солдат, женщин, детей… Скрюченных, обезображенных… Это свирепствовал тиф. Мёртвых спешно собирали, зарывали в общую могилу, а болезнь перекидывалась на других и косила людей страшнее вражеского огня.

Вскоре слёг и сам Врангель. На пятнадцатый день врачи признали положение практически безнадёжным. Жена, ни на шаг не отходившая, пригласила священника. Тот явился, доставив в дом Чудотворную икону Божией матери. И вот, чудо – столько дней в беспамятстве лежавший, генерал пришёл в себя, исповедался и причастился в полном сознании, а затем впал в беспамятство вновь. Ждали смерти ежечасно. Но… Охранил Бог и в этот раз, отвёл костлявую… И трогательно заботливы были все в те дни: даже незнакомые люди справлялись о здоровье, присылали фрукты и вино, выражали готовность помочь, врачи отказывались от вознаграждения. Сердечное письмо пришло от Главнокомандующего, распорядившегося, зная стеснённость Петра Николаевича в средствах, покрыть расходы на лечение из казённых денег.

Болезнь надолго выбила Врангеля из строя. Война набирала обороты, а он вынужден был лишь наблюдать за событиями, с большим трудом восстанавливая силы. Юзефович, между тем, вновь взывал к Ставке, доказывая необходимость движения на Царицын. А дела

начинали портиться… И всё явственнее виделось, что потеряли драгоценное время, волжское направление забросив. Уже войска Колчака подходили к Волге. И начни Кавказская армия двигаться в нужном направлении ещё зимой, так уж и соединились бы вот-вот! А вместо этого четыре месяца стояли на месте. У Маныча. Вели там бои с переменным успехом… Необходимость соединения с Колчаком очевидна была даже для лиц невоенных. Навещавший часто Врангеля во время болезни Кривошеин, человек недюжинного ума и зоркости, сокрушался, понимая ошибочность избранной стратегии. А командование – не понимало… Загадка! И едва оправившись от болезни, в первую же встречу свою с Деникиным вновь поставил Пётр Николаевич вопрос о Царицыне, представив свой план действий. И опять молчали, уклонялись от ответа, тянули. И сколько бы тянули ещё, если бы противник сам не вынудил к решительным действиям!

В апреле красные обрушились на державших Манычский фронт донцов и, отбросив их, стали быстро продвигаться к Владикавказской железной дороге. Казаки были деморализованы и отступали без сопротивления. Кавказская армия оказалась под угрозой быть отрезанной от основных сил. Спасать положение пригласили Врангеля. Предложил Романовский принять командование Манычского фронта и осуществить намеченные Ставкой меры. Меры эти счёл Пётр Николаевич крайне неудачными и немедленно представил свой план действий, согласившись принять должность лишь при условии следования именно этому плану. Романовский отказал. Присовокупил, ещё надеясь переубедить:

– Вы понимаете, Пётр Николаевич, что ваш отказ поставит Главнокомандующего в необходимость самому принять на себя непосредственно руководство Манычской операцией?

– Своего решения я не изменю, – ответил Врангель. – Я не могу браться за дело, которое считаю для себя в настоящих условиях непосильным. Главнокомандующий, имеющий полную мощь, в случае если он лично станет во главе операции, будет иметь возможность принять все меры для того, чтобы обеспечить успех операции; и я не сомневаюсь, что он убедится в необходимости тех мер, что я предлагаю.

С тем, превозмогая приступы жара и боль в ногах, вопреки настояниям врачей, Пётр Николаевич спешно уехал в свою армию.

К концу апреля предсказание Врангеля сбылось. Деникин взял командование на себя, но результатов это не дало. Белым не удавалось форсировать реку, и войска несли большие потери. Между тем, случилось, что именно здесь сосредоточились почти все кубанские части (масса конницы, о создании которой ещё в минувшем году говорил Врангель!), что позволяло объединить их в Кубанскую армию, о которой кубанцы столько мечтали. Пётр Николаевич всегда считал, что, учитывая наличие своей армии у донцов, кубанцы также вправе иметь свою, и сочтено было, что он наиболее подходящая фигура для объединения кубанских полководцев. Впрочем, Кубанской новоформируемая армия так и не стала. Она получила наименование Кавказской Добровольческой. Вот когда началось долгожданное наступление на Волгу, осуществление врангелевского плана!

Перво-наперво надлежало форсировать реку Маныч и взять находившуюся на другом берегу станицу Великокняжескую. Пётр Николаевич объехал передовую, разговаривая с солдатами и ободряя их (при этом один из сопровождавших его адъютантов был убит, другой – ранен). После, собрав командиров соединений, изложил им свой план действий: из разобранных изгородей, окружавших казачьи дома, сделать гать, и по ней переправить на противоположный берег артиллерию. Рискованное было предприятие, но – увенчалось успехом.

Сражение же на Маныче – из крупнейших конных выдалось! Славную страницу вписала Кавказская Добровольческая в историю белой борьбы. Несколько дней длилась битва. Генерал Улагай наголову разгромил кавалерийский корпус красного командира Думенко. Полки белых несли тяжёлые потери. Был момент, когда возникла угроза отступления на

одном из направлений, и тогда Врангель отдал приказ своему конвою на месте расстреливать дезертиров и паникёров. И сам вёл свои войска на штурм, лично объезжая полки и подавая пример мужества и воли к победе, и уверенности в ней. Знал генерал, как воздействует на бойцов личный пример командира, а за свою жизнь не страшился. Совсем недавно ещё раз охранил его Бог – через несколько минут по прохождении его поезда на железной дороге произошёл взрыв, и ясно было, что именно поезд-то и был целью, и лишь чудом прошёл он мгновениями считанными раньше…

Многие командиры, следуя примеру Врангеля, сами вели свои соединения в бой, идя впереди их. Среди них велики оказались потери. Но разбили красных наголову, и Великокняжескую освободили. И открыли путь к Царицыну и Волге. И отдан, наконец, был приказ Царицын взять. И прибывший Деникин спрашивал:

– Ну как, через сколько времени поднесёте нам Царицын?

– Три недели, – ответил Пётр Николаевич, прибавив, что взятие города штурмом возможно лишь при необходимом количестве пехоты и артиллерии.

– Конечно, конечно, всё, что возможно, вам пошлём, – пообещал Деникин.

Легко давались обещания, да если б исполнялись ещё в точности… Но этого не было, и пора б привыкнуть к тому, а не привыкалось. Вот и на этот раз не исполнили обещания в полной мере. А почему? До всё потому же! Потому что не понимали важности направления! Царицынское и подождать могло, когда Добровольческая армия успешно развивала наступление на Харьковском направлении, кое Деникин считал главным. Именно туда отправлялось «всё, что возможно», а к нуждам Кавказской армии командование относилось без должного внимания.

От Великокняжеской до Царицына тянулась безводная и безлюдная степь. Отступавшие красные взорвали все мосты. Ох и пригодилось здесь Петру Николаевичу его инженерное образование! Самолично и руководил ремонтом. А войска опять буквально в бедственном положении находились: не хватало провизии, воды, одежды, медикаментов… И когда-то с этой нищетой покончено будет? Люди были измучены, но Ставка не присылала пополнения, направляя его Добровольческой армии. Не было техники: даже автомобиль Врангеля, не имевший запасных покрышек, взамен коих наматывались на обода тряпки и трава, наконец, сломался. На запрос о присылке нового Ставка отвечала гробовым молчанием.

Две недели шли по безводной степи и предстояло брать город укреплённый, оснащенный техникой и артиллерией, куда конницы Будённого и Жлобы стянули для отражения атаки. Бомбардировал Врангель Ставку требованиями прислать помощь: «То, что достигнуто, сделано ценой большой крови и в дальнейшем источник её иссякнет. Нельзя рассчитывать на безграмотность противника и пренебрежение им значения Царицына. Царицын мы должны взять, но, взяв, иметь средства удержать». Не слышали… На бесчисленные запросы Ставка пообещала, наконец, прислать танки и стрелковый полк. Но они не могли прийти ранее, чем через две недели, а за этот срок красные неминуемо нарастили бы свои силы. Стоять в ожидании было смерти подобно, поэтому пришлось начать штурм, не дожидаясь подкреплений. Все атаки разбились о технику, огонь и подавляющее число противника. Потери были огромны. Численность некоторых полков дошла до сотни человек, многие командиры погибли.

Тяжело переживал Пётр Николаевич эту неудачу. А тут ещё навалилась болезнь. Но продолжал писать Главнокомандующему. Уже и не без резкости, срываясь. Отправил Деникину рапорт, в котором сообщал об огромных понесённых потерях и вновь повторил, что «без артиллерии, пехоты и технического снаряжения город штурмовать нельзя». Доведённый до предела, генерал решился подать рапорт об отставке после завершения Царицынской операции. Однако Юзефович и другие офицеры штаба отговорили его от этого шага.

Между тем, Ставка, наконец, вспомнила о своих обещаниях и отправила-таки на подмогу Кавказской седьмую пехотную дивизию. Вот уж права пословица: пока гром не грянет… А из-за этой бестолковицы сколько людей положили напрасно!

По прибытии подкреплений стали готовить второй штурм. А тут ещё незадача возникла: совсем разладился от неудач генерал Улагай, на которого предполагалось возложить ключевое направление операции. Своих подчинённых Пётр Николаевич знал очень хорошо. Знал, в частности, об Улагае, что склонен он к сильным перепадам настроения, и видел что, впав в депрессию от того несчастного штурма, к новому неспособен. Всего легче было бы произвести замену, просто принять командование на себя, но такое решение окончательно деморализовало бы впечатлительного Улагая, а этого никак нельзя было допустить. Наоборот, следовало подкрепить его, вернуть былую уверенность. И, подумав, нашёл Пётр Николаевич выход, пояснил недоумевающему Шатилову:

– Секрет успеха в гражданской войне кроется в верном подборе командира предстоящей операцией. Ещё в бытность командиром первой кавалерийской дивизии я без колебаний перетасовывал бригады. Если требовалось упорство, я назначал Топоркова, если маневренность и гибкость, – Науменко. Таким образом, командовать ударной кавалерийской группировкой будешь ты, я буду осуществлять общее руководство, а Улагай будет пожинать лавры, так необходимые для его самолюбия.

Так и сделано было. И – не устоял на этот раз «Красный Верден». И накануне вошли в город доблестные бойцы Кавказской Добровольческой армии, сорок дней совершавшие тяжелейшие переходы и ведшие кровопролитные бои. «Ура вам, храбрецы, непобедимые орлы Кавказской армии! Слава о новых подвигах ваших пронесётся как гром, и весть о ваших победах в родных станицах, селах и аулах заставит гордостью забиться сердца ваших отцов, жён и сыновей».

И одно только тревожило в этот по истине счастливый день. Не опоздали ли?.. Ведь уже – середина июня. И на фронте адмирала Колчака не так благополучно, как было несколько месяцев назад. Ах, если б тогда к Волге выйти!.. Но нет, не поздно и теперь ещё энергичные действия предпринять в нужном направлении. Продолжать начатое, двигаться на соединение с Колчаком, а затем кулаком единым – на Москву. Лишь бы Главнокомандующего убедить в этом! Вместе с генералом Юзефовичем успели подготовить доклад к его приезду. Наметили: овладение Астраханью и нижним плесом Волги, закрепление на коротком, но обеспеченном фронте (Царицын-Екатеринослав), дабы не растягивать опасно фронт, не имея резервов и укреплений в тылу, в районе Харькова выставить заслон из трёх-четырёх конных корпусов, организация тыла и устройство укреплённых узлов сопротивления на случай наступления красных, далее – наступление на Москву по кротчайшим направлениям конной массой, нанося удары в тыл красным армиям.

Генерал Деникин принял Врангеля и Юзефовича в своём вагоне.

– Ну что, как теперь настроение? Одно время было, кажется, неважным? – спросил, улыбаясь.

– Так точно, ваше превосходительство. Нам было очень тяжело.

– Ничего, ничего, теперь отдохнёте, – пообещал Главнокомандующий.

Изложили ему план действий, подали рапорты. Казалось бы, куда убедительнее? Куда яснее? А Антон Иванович, рапорты принимая, усмехнулся лишь:

– Ну, конечно, первыми хотите попасть в Москву.

Как хлестнул недостойным намёком этим. Сдержался Пётр Николаевич, пропустил мимо ушей, а сам тотчас вспомнил Кривошеина. Как силясь понять странные решения Ставки, предполагал проницательный Александр Васильевич причиной всему личные мотивы Главнокомандующего. Не верил тогда Врангель этому и горячо спорил с Кривошеиным, в выводах своих вполне убеждённым, а сейчас впервые усомнился – уж не прав ли

был Александр Васильевич?.. И ведь сколько добивался барон разъяснений у Романовского, а тот всякий раз со свойственным ему умением обходил все вопросы, не давал ответов.

Портрет генерала Деникина в достаточной мере сложился у Петра Николаевича ещё задолго до этого дня. По виду своему, бесцветному и обыденному, походил Антон Иванович на среднего обывателя. До своего высокого положения в армейской иерархии дошёл он исключительно благодаря личному трудолюбию и способностям. Его отец, николаевский солдат, четверть века тянувший лямку, и вышедший в отставку в офицерском чине, лишь после шестидесяти лет обзавёлся семьёй и умер, когда сын был ещё ребёнком. Отроческие годы Деникина прошли в Польше, откуда родом была его мать. Жили практически бедственно. Из таких-то низов поднимался будущий вождь Белой армии. Характерные черты своей среды, провинциальной, мелкобуржуазной, либеральной, он сохранил до сих пор. Трудно было торить себе путь молодому офицеру. И как было не позавидовать гвардейским офицерам, аристократам, с младых ногтей имевшим всё, с такой лёгкостью поднимавшимся, никогда не ведавшим нужды? Это смутное чувство ущемлённости, видимо, так и не удалось преодолеть ему. Отсюда повышенная, почти болезненная щепетильность, стремление оградить от любых посягательств своё достоинство. Он даже на «ты» не переходил ни с кем, включая близких друзей, держал дистанцию, отгораживался. Защищать себя умел Антон Иванович, ещё будучи молодым офицером. По окончании Академии Генштаба он не получил места, которое было ему положено. Кто-то наверху провёл на него своего человека. Любой другой смирился бы, а Деникин дошёл до самого Государя с требованием справедливости. Он рано начал писать и публиковаться в журналах, притом сохраняя свободомыслие. Как военачальник, отметился в обе войны многими славными делами. И словом владел Антон Иванович, но отчего-то словом этим не умел достучаться до солдат, овладеть сердцами людей. Но, главное, оставался в глубине души всё тем же молодым офицером, выходцем из низов, ревниво смотрящим на знать. И угадывал Пётр Николаевич, что и гвардейский лоск его, и титул, и громкая фамилия, инстинктивно не по нутру Деникину. И дело здесь было не в какой-то обоснованной неприязни, а в невольном, подсознательном, трудной жизнью заложенном предубеждении, которое преодолеть всего труднее. И подчас возникала даже мысль: не вредит ли предубеждённость в отношении лично него его армии? В какой-либо личной непорядочности доселе не мог заподозрить Врангель Главнокомандующего. И не сомневался в патриотизме его и желании блага. Но не мог и не видеть: не по способностям достался груз Антону Ивановичу. Не был создан он для государственной работы. И терялся, и боялся ошибиться, и сомневался, и не доверял почти никому. А болезненную щепетильность его и подозрительность, и самолюбие использовали в своих целях различные тёмные личности, гнездившиеся, в частности, в Осваге. Наушничали, нашёптывали, передавали сплетни, растравливали. И чувствовал Врангель, что кто-то не без успеха и о нём передаёт разное Главнокомандующему, искажая слова и действия его, укрепляя подозрительность. Когда бы окружил себя Деникин толковыми помощниками! Так нет же. Вот, того же и Кривошеина, с его-то умом и опытом – почему к делу не призвать? Но нет, слишком сильная и крупная фигура была, слишком самостоятельная. А самостоятельности не любил Антон Иванович. И нетерпимостью этой многих отваживал. Взять хотя бы казаков и украинцев. Зачем такая непримиримость в борьбе с самостийными течениями? Зачем записывать в самостийники всех подряд? На офицеров, сражавшихся с большевиками при гетмане на Украине, смотрели в Ставке, словно на предателей, создали комиссию для унизительной проверки их. Справедливо ли? Незаслуженно обижали людей, самих себя лишали необходимой поддержки. Да пусть бы были самостийники, лишь бы сражались честно с общим врагом! Под каким угодно флагом, но – за Россию! Лучше бы с такой непримиримостью относился Главнокомандующий к творимым в тылу бесчинствам, тон которым задавали иные старшие начальники. Вот, они-то, наносящие своим поведением громадный вред делу, как

будто и вовсе независимы были. Смотрела на их безобразия Ставка сквозь пальцы. Когда в апреле встал вопрос о формировании Кубанской армии, спросил Пётр Николаевич у Деникина, кто же до сих пор командовал главной массой конницы? Оказалось, что отдельные командиры подчинены были непосредственно самому Главнокомандующему.

– Но какое же в таком случае можно ожидать единство действий? – удивился Врангель.

– А как вы заставите генерала Покровского или генерала Шатилова подчиниться одного другому?

И откуда взяться дисциплине, если Главнокомандующий не может призвать к порядку своих генералов? В самом Екатеринодаре происходил безобразный разгул Шкуро, Покровского и других. А Деникин, столь строгий к себе, не имел воли требовать того же от подчинённых, словно не замечал происходящего. Нет, как ни старался, не мог Пётр Николаевич, постигнуть до конца логики действий Главнокомандующего. И теперь уходил от него с недобрым предчувствием, что напрасны окажутся их с Юзефовичем рапорты, и Ставка вновь примет какое-то лишь ей понятное решение…

Это подозрение оправдалось на другой день, превзойдя худшие ожидания. Генерал Деникин обнародовал свою директиву. Ровным голосом, заметно гордясь составленным планом, он читал:

– Вооружённые Силы Юга России, разбив армии противника, овладели Царицыном, очистили Донскую область, Крым и значительную часть губерний Воронежской, Екатеринославской и Харьковской. Имея конечной целью захват сердца России – Москвы, приказываю…

Воодушевлённо звучал голос Главнокомандующего, а у Врангеля с каждым оглашаемым пунктом сердце падало, и кровь учащённо стучала в висках. Слушал, остолбенев, не веря своим ушам. Бросил быстрый взгляд на Юзефовича, и на его смуглом лице прочёл ту же мысль, ту же ошеломлённость. Отвёл глаза верный соратник, уставил их неподвижно в ровное покрытие стола, голову пригнул, хмурился. А Антон Иванович продолжал читать, словно гвозди в гроб всего дела вколачивал. И рядом Романовский сидел. Но по его лицу, как всегда, ничего не разобрать. А, впрочем, что разбирать? Вместе и составляли убийственный этот план… Да как же могли? Ведь оба же – в военном деле специалисты! Да как же они, два генерала боевых, две войны прошедших с честью, могли все принципы стратегии отвергнуть?! Ни главного операционного направления, ни сосредоточения на этом направлении главной массы сил, ни манёвра! Просто указали каждому корпусу маршрут – на Москву! Раздирали фронт, растягивали до бесконечности на тысячи вёрст. В цепь тончайшую, которую клином мощным прорвать – чего проще? А если прорвут… Перебьют по одиночке. И в тылу – ни узла укреплённого, зацепиться не за что будет. А зато развал, никакой организации, зарвались вперёд, территории заняли, а порядком на них не озаботились. Если прорвут, так весь этот замок на песке рухнет, не удержится… А они слепы ли были?! Этот смертный приговор армиям Юга подписывая?!

– Да, вот как мы стали шагать! Для этой директивы мне пришлось взять стовёрстную карту, – довольно объявил Деникин.

Даже в груди затеснило от волнения – контузия старая напомнила о себе. Молчал, стараясь с чувствами справиться. Что тут сделаешь? Высказать напрямик? Спорить? Доказывать? Да уж сколько раз схлёстывались. А сейчас, в эйфории этой, в момент торжества самолюбивого – да ничем не прошибёшь! Теперь лишь на чудо надеяться остаётся, а чудеса долго ли Господь Бог посылать будет? Отбросил мысли о судьбе движения в целом, сосредоточился над операционной задачей, его армии поставленной. «Отдохнёте теперь»… Вот и «отдохнули», кажется. Выйти на фронт Саратов-Ртищево-Балашов, сменить на этих направлениях донские части, продолжить наступление на Пензу, Нижний, Москву… А прежде – Камышин взять. Это уже теперь, выходит.

– Ваше превосходительство, мои части окончательно истомлены после трёхсотвёрстного похода и сорокадневных боёв и должны хоть немного отдохнуть.

– Конечно, ведь до выхода донцов к Камышину в вашем распоряжении будет, вероятно, недели две. Вам только следует не задерживать переправы тех частей, которые вы пошлёте на левый берег, – кивнул Антон Иванович и тотчас распорядился о переброске в Добровольческую армию ряда частей, взамен которых Кавказской обещана была 2-я Кубанская бригада. И ещё раз добавил с гордостью: – Сегодня мною отдан приказ армиям идти на Москву!

Вышли от Главнокомандующего, как убитые. И ни слова не сказал Юзефович, вздохнул лишь утруждённо. И Врангель ничего не сказал ему. И нечего, по существу, говорить было, слишком ясно всё, и слишком трудно высказать…

Уехал Деникин в тот же день, и надо было теперь, ни секундой не медля, срочно браться за дела. В городе порядок наводить, укреплять его, сколь возможно. И одновременно же – новое наступление готовить. На Камышин. И дух перевести некогда.

Штаб Врангеля разместился в маленьком сером флигельке. Три оконца, георгиевский флажок при входе и парные часовые из кубанцев. В это скромное обиталище, где Пётр Николаевич и поселился, люди шли нескончаемым потоком. Каждый со своей болью. Со своим делом. С просьбой. А кто и просто – поблагодарить, почтение засвидетельствовать. И для каждого требовалось слово найти, а если дело важное, то распорядиться, помочь. Офицеров в штабе немного было, не раздувал его Врангель. Обходились малыми силами. Как в горячке сутки прочь пролетели. Сколько людей прошло мимо? Сколько судеб? Особенно старик-генерал Эйхгольц, служивший в молодости ординарцем при Скобелеве, запомнился. Трое сыновей его сражались на фронте, и двое уже погибли. Ограбленный большевиками до нитки, он сохранил оберегаемый, как святыню, академический знак Скобелева, завещанный ему давным-давно.

– Я хотел бы, чтобы этот знак украшал грудь достойную. Прошу вас не отказаться принять.

От какой-либо помощи отказался благородный старец, сославшись на то, что зарабатывает себе на пропитание частными уроками…

Тёк народ неиссякаемым ручьём. Какая-то дама требовала дать ей развод… Насилу выпроводили. Наконец, закончилось приёмное время. Отдав ряд распоряжений подчинённым, Пётр Николаевич опустился на маленький диванчик и устремил взгляд на висевшую на противоположной стене большую карту с обозначением фронтов. Свой фронт знал генерал назубок, с закрытыми глазами мог указать, какой пункт где расположен. И теперь в неутомчивом мозгу являлись всё новые схемы предстоящих операций. Пространство для манёвра было, но маневрировать – с чем? Столько людей потеряли под Царицыным, что армию по численности можно в корпус свести, а ряд полков расформировать за малочисленностью. Обещаниям Ставки, уже обжегшись не раз, не доверял. Подумал и написал Романовскому ещё. Вдогонку. О том, что людей мало, и даже те, что есть, истомлены крайне, и со снабжением – худо. Свежие силы, как воздух, нужны. А без них… Без них ещё возможно взять Камышин. Но удержать его нельзя будет. Закопаемся.

Приглушённый закатный свет окрасил небольшую комнату. Пётр Николаевич подошёл к окну, поглядел на узкую улочку, постепенно безлюдевшую. Весь день он посматривал на неё, на людей, снующих по ней. Как-то успокаивающе действовало.

– Разрешите войти, ваше превосходительство?

Это капитан Вигель порог переступил, шаркнул неуклюже изношенным сапогом. Артиллерийская бригада его наряду с некоторыми другими частями покидала Кавказскую армию и отправлялась завтра на фронт Добровольческой. И зашёл капитан проститься. Жаль было отпускать способного офицера. Успел его хорошо узнать генерал и ценил. Не за то, что тот приходился роднёй старому товарищу, а за личную доблесть и умелость.

– Входите, конечно, Николай Петрович. Садитесь, – длинной ладонью на кресло указал, а сам переместился за длинный письменный стол, аккурат добрую половину комнаты занимавший. – Что же, покидаете нас? Не сожалеете?

– Как сказать. С одной стороны, с Кавказской армией я сроднился, и оставлять её мне жаль. А с другой, полк мой – там. И я бы хотел быть со своим полком. И к тому же… – так и расцвело молодое лицо. – На Москву идём!..

Так и есть. Ослепила всех Москва сиянием куполов своих. Ни о чём другом никто и думать не может. На Москву, на Москву! А у армии уже резервов не осталось. И лучших офицеров, из которых Добровольческая армия почти целиком состояла, выбило большей частью. И места их пленные занимают. Далеко ли уйдём? Но не поделился Врангель тревожными мыслями с капитаном. К чему? Только настрой боевой ломать офицеру. Омрачать радость его. Просто и жаль по-человечески было.

А от приметливого взгляда Вигеля не укрылось, что Пётр Николаевич как будто и не очень разделяет радостного общего настроения. Но не спросил ни о чём. Не хотелось. Кавказскую армию искренне жаль было оставлять Николаю. Столько месяцев пройдено с ней! Столько вёрст! Столько побед одержано! Да и генерала Врангеля высоко чтил капитан. Вспомнилось, как приехал он в апреле в армию, ещё не оправившийся до конца от тифа. Ещё более исхудалый, чем обычно, и на лице высохшем ещё крупнее казались глаза, светло-светящиеся. И сразу в работу погрузился, и сразу на коня, и на передовую. И с такой быстротой всё делал он, что иногда возникало чувство, будто бы разом в нескольких местах генерал находится. А во время похода был – как простой солдат. На голой земле спал, подложив под голову седло и буркой укрывшись. Врангель и прежде любим был в армии, а за время царицынской эпопеи так и вовсе обожаем стал. Уже офицеры с гордостью говорили:

– Мы – Врангелевцы!

И многие на рукавах букву «В» рисовали. Вигель не рисовал, оставаясь Корниловцем. Но не понял, отчего такое вполне традиционное для Белой армии течение вызвало такое волнение в Ставке. Так вознегодовали там, что потребовали в приказном порядке букву «В» стереть. И что взревновали? Даже глупо как-то. Неприятно это было Николаю. Своего добровольческого вождя, генерала Деникина, он искренне уважал, и как военачальника, и как правую руку Корнилова, связующее звено с покойным Вождём. И тем обиднее было, что подрывался авторитет его неумными действиями. А буква «В» на рукавах осталась. Химический карандаш крепче приказа – попробуй ототри. Позубоскалил кто-то: «Пускай обмундирование новое шлют, если им так буква мешает».

А при всём при том радостно на сердце было. Даже усталость от похода и боёв тяжелейших не ощущалась – такой подъём охватил. Давно такого не было! Да и как мог не радоваться Вигель? С дивной скоростью маршировала армия, освобождая область за областью. Всё ближе Москва виднелась. Москва! – оглушающее слово! Так стосковался Николай по родному городу. Сколько лет, почитай, дома не был? Не москвич не мог так радоваться приказу «на Москву». Для других Москва – цель политическая. А для москвича в приказе этом одно слово слышалось – «домой!» С такой яркостью каждая улочка припомнилась. И родной дом. И все близкие, оставленные там (что-то с ними?). На Москву! – этот приказ казался чем-то прекрасным, чем-то само собой разумеющимся. Куда ж ещё? Только туда. И скорее. Пока порыв горяч, пока фортуна нам улыбается – рывком! Так хорошо было Вигелю, точно колокола московские в сердце переливались.

Но и других причин для радости не меньше было. А, пожалуй, и – больше? Ещё в январе истревоженный за Наташу, хоть и совестясь, а попросил об отпуске. На фронте спокойно было, а Вигель немало отличий в боях имел: не отказали ему. Поехал. Полетел, сломя голову, лишь бранясь сквозь зубы, что поезд медленно идёт. За время пути всё самое страшное перебрал в изнервлённом сознании. Едва прибыл в Ростов, прямо с вокзала бросился к

Наташе. Отпер дверь (ключи ему она дала), переступил порог и вздохнул облегчённо. Прибрано всё, светло, даже как будто кофе пахнет. Стало быть, жива-здорова. Перекрестился мысленно, обругав себя дураком и паникёром – напридумывал себе разного, словно институтка. Стыдно вспомнить. С фронта сорвался… И сразу вслед – а и хорошо, что сорвался. Тревога тревогой, а не только она влекла его. А ещё хотелось просто с Наташей побыть. Обнять её, запах волос её вдыхать, целовать. Да просто тепла женского хотелось одичавшему в бесконечных боях и походах капитану.

Не успел фуражки и шинели снять, как из гостиной голос Наташин услышал. Негромкий, трепетный. А в ответ… И замер, ушам не поверив… Метнулся, как был – шинель на одном плече, снята наполовину – в комнату. А там, как ни в чём не бывало, сидя за столиком, пили кофе Наташа (на коленях у неё кот невероятно пушистый дремал, и нервная рука её в его шерсти тонула) и… отец!

Отца не видел Вигель дольше года. Отметил с радостью, что тот всё так же прям и собран. Лишь усох больше прежнего, и лицо осунулось несколько. Но держался бодро. Только не сдержал слёз, когда сына увидел. Да Николай не менее взволнован был. А про Наташу – и говорить нечего! Вопросы один через другой перескакивали, очередность путая. Как здесь? А Москва что? А… Оказалось, арестован был, жив чудом остался. А из Москвы пришлось бежать. Спасибо князю Долгорукову – помог. Но здесь-то как? У Наташи?.. Стал отец рассказывать обстоятельно. Едва оказавшись на Юге, стал он наводить справки о судьбе сына. Узнал, что жив тот, сражается на фронте. С бывшими сослуживцами (кто в отпуску был, кто по ранению) повидался. От кого-то услышал о Наташе. Потом и саму её отыскал.

– Да и как не найти было бы? Всё-таки профессия моя. Позор сединам был бы – не найти, – улыбался Пётр Андреевич.

Наталья Фёдоровна тактично оставила их, чтобы не стеснять разговора своим присутствием. Это кстати было. О ней-то при ней не поговоришь. А очень хотелось Николаю узнать, что-то отец о ней скажет? И самому рассказать… Оказалось, что Пётр Андреевич о многом догадался и без рассказов. Не изменяла старику профессиональная закалка. Да и сына своего знал достаточно.

– Ты жениться на ней собираешься? – спросил без обиняков, в лоб, пытливых глаз не сводя.

От самого себя вопрос этот Вигель гнал, а теперь нужно было отвечать. И отцу, и себе.

– Если жив останусь, да, – неожиданно легко ответил и почувствовал облегчённость: значит, верно решил, так и быть тому. Ждал, что отец скажет на это. Но тот молчал, поглаживал жилистой ладонью бороду.

– Почему ты молчишь? Ты против?

– Нет, – Пётр Андреевич качнул головой. – По-иному всё равно быть не может.

Теперь уже Николай примолк, не находя, что ответить. А отец продолжал:

– Наталья Фёдоровна нездорова. Ты знаешь, в каком положении я её застал? Нервы её были расшатаны совершенно… У меня даже были опасения… – он не договорил, заложил душку очков в угол рта. – Обошлось, слава Богу. Эта женщина не может находиться одна. Кто-то должен рядом с ней быть.

– Я знаю это, отец. Я поэтому и приехал, сорвавшись с фронта.

– И очень хорошо сделал. Пока ты можешь не беспокоиться о ней. Мы с Натальей Фёдоровной успели найти общий язык, и я теперь живу у неё.

– Я очень рад этому, – искренне сказал Вигель.

– Скажи честно, как ты к ней относишься? Только жалеешь? Или всё же любишь?

– Не знаю, отец. Но не всё ли равно теперь? Ты сам сказал, что оставить эту женщину я не имею права. Она не перенесёт.

– Да, не перенесёт… Если бы закончилась эта кутерьма, и удалось бы перевезти её в какое-нибудь тихое место, то здоровье её могло бы поправиться. Ты хорошо знал её мужа?

– Мы были недолго знакомы. Это был очень достойный человек. И Наталья Фёдоровна до сих пор его любит, я знаю.

– Хорошо, что ты это понимаешь.

– Не знаю, насколько хорошо понимать, что не любят тебя, – пожал плечами Николай. – А, может, так и лучше, что она меня не любит. Хоть в этом отношении совесть моя чиста!

Отец смотрел задумчиво и печально. Не о такой судьбе мечтал он для сына. Но что теперь все эти мечты? Пепел и только. И не выговаривал. Он вообще не разговорчив был, Пётр Андреевич. Ему слишком ясны были чужие мысли, чувства, поступки, а потому не было нужды спрашивать. А своими делился он лишь в меру необходимости. В старости особенно обозначилась эта черта.

– Что фронт? – спросил, меняя тему.

– Наступление развивается успешно, – как-то и Николай не расположен был к многословности при отце.

– Успешно! – Пётр Андреевич скривился. – Этого – мало, – обрубил резко. – Тыл расхристан. Разъяснение наших целей, сути борьбы не организовано. Пропаганда – похабное слово, но она необходима. «Товарищи» искусны в ней. У них листовки! Газеты! Ложь стопроцентная, но уверенная! И бьёт в точку. А у нас – что? Осваг? Трудно найти более вредного учреждения! Понабилось шушеры, лишь бы на фронт не идти… То, что они сочиняют, читать совестно. Бездарность.

Отец бросал отрывистые фразы без всякой интонации, и лишь по тому, как играли его желваки, видно было, что старик волнуется.

– А что бы ты хотел? Воззвания Кузьмы Минина? Так взывали! А толку ли?

– На месте командования, я бы разогнал этот Осваг к матери под вятери, как говаривал мой добрый друг. Нужен толковый человек, владеющий словом, чтобы писать воззвания, листовки и всё необходимое. Но не просто владеющий, а сердцем чувствующий это слово. Пример? Вспомни Отечественную войну. Тогда Государь Александр Павлович призвал адмирала Шишкова и повелел ему писать воззвания. Задача не самая лёгкая, заметь себе. Шишков был дворянин, образованный человек, учёный. А обращаться нужно было не к образованной публике, а к простонародью. Найти простые слова, которые были бы доходчивы до сердца. Так, вот, он нашёл их! От них, сто лет назад написанных, и сегодня сердце резонирует.

Почти энциклопедическими знаниями обладал Пётр Андреевич. Ещё в детстве любил Николай, когда отец начинал что-то из истории рассказывать. Случалось такое, правда, редко, так как слишком занят он был на службе, но и тем более запоминалось. Казалось Николаю, что не было такой книги, какую отец бы не прочёл. И цитатами сыпал, которые как только в памяти помещались. Правда, память старика подводила уже. А потому принёс он из соседней комнаты пухлую записную книжку с многочисленными закладками, стал листать, поясняя:

– Библиотеку жаль… Вся в Москве осталась. Знаешь, всю жизнь боялся больше всего – пожара. Что библиотека моя сгорит, – усмехнулся грустно. – А сгорает теперь вся Россия… Вот, только тетрадь эту и прихватил с собой, как конспект всего прочитанного.

Эту старую тетрадь хорошо помнил Вигель. Отец всегда что-то записывал в ней. Записывал мельчайшим почерком, сокращая слова – так, что шифр этот лишь ему одному и понятен был.

– Вот, нашёл, – сказал найдя нужную страницу. – Послушай, как сказано: «Да встретит враг в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина. Благородное дворянское сословие! Ты во все времена было спасителем Отечества;

Святейший Синод и духовенство! Вы всегда теплыми молитвами своими призывали благодать на главу России; народ Русский! Храброе потомство храбрых славян! Ты неоднократно сокрушал зубы укрепившихся на тебя львов и тигров. Соединитесь все: со крестом в сердце и с оружием на руках, никакие силы человеческие вас не одолеют…» Так-то! А теперь тухлятина казённая – с души воротит читать.

– Тебе бы взяться за это дело, – полушутя, но и полусерьёзно сказал Николай.

– Я не Шишков. Для всего свой талант нужен, – хмуро отозвался отец. – У нас все самые бойкие перья у либералов и социалистов строчат. Россию развалили, теперь ещё и здесь всё норовят расколоть.

– Чем ты намерен заниматься в Ростове?

– Как Бог даст. Пока ума не приложу, – Пётр Андреевич пожал плечами. – Ты знаешь, я не люблю сидеть без дела. Но и не вижу, где бы мог пригодиться. Пока буду наблюдать…

Нет, не переменили отца ни болезни, ни крах всей жизни его, ни заключение, ни бегство из родного города. Он и теперь готов был включиться в работу для блага России, когда бы только нашлась для него такая. И раздражался, что не находилась. И затаённо, знал Николай, мается от неизвестности, что теперь с Ольгой Романовной. Даже не мог себе вообразить Вигель, какие кошки должны скрестись у отца на душе. Каково-то после стольких лет разлучиться и не иметь возможности ни весточки послать, ни справиться? Хоть и ревновал Николай всегда немного отца к мачехе из-за матери, но и сам привык и привязался к ней. И ей – как оказаться вдруг одной? В городе, ставшем почти враждебном?

Неделю провёл Николай в Ростове. И всю напролёт – с Наташей. Не расставались в эти дни. Наташа повеселела, румянец проступил на бледных щеках. И льнула доверчиво, словно защиты ища, мягкая, тёплая, словно кот её, ходивший по квартире с хозяйской важностью. И размыкалась, уходила тоска от этой ласковости женской – как и сроднились уже. Но даже в эту неделю, когда вроде бы никакой грани не осталось между ними, так ни разу и не назвала она его по имени. Казалась счастливой, а по ночам вдруг просыпалась, плакать начинала. На все вопросы не отвечала ничего, а лишь прижималась теснее, словно испуганно. И столько смешенной с жалостью нежности поднималось в груди. Как к ребёнку малому. Так хотелось утешить её, успокоить. Шептал ей что-то ласковое, затихала она и снова улыбалась.

Утром приходила прислуга, готовила обед. Наташа хозяйствовать не умела. Атмосферу уюта за столом создать – это талант её был. Но быт – никак бы ей не совладать. А за столом собирались втроём: Николай, Наташа и отец. Наташа – всегда безупречно одетая, причёсанная, посвежевшая. К отцу – предупредительно-внимательная. Кажется, и впрямь поладили они. То-то счастье! Отдыхал Вигель душой в эти часы. Вот, как будто семьёй одной уже были. Подумалось, что жениться на Наташе и хорошо будет, пожалуй. Закончится война, поселятся они вместе в Москве, или же в домишке за городом, где тишина и покой, столь нужный для расстроенных её нервов, и… Рисовало счастливые картины услужливое воображение, но уж Николай и притормаживал его. Не в наше время смутное размечтываться.

Уезжал успокоенный. Хорошо, что отпуск взял. А то бы издёргался только зазря – и много бы проку с него такого на фронте было? А теперь с новыми силами – в любое сражение! На вокзале простился сперва с Наташей сдержанно (на людях стеснялась она), затем с отцом.

– Береги её, я тебя очень прошу, – попросил, уже на подножку вскочив.

– Не волнуйся, – кивнул Пётр Андреевич. – Всё хорошо будет. Главное, береги ты себя.

Этого счастья в годину чёрную – уже не с избытком ли? А не поскупилась судьба и ещё на одну радостную весть. Из далёкой Сибири слух дошёл, что сражается в рядах армии Колчака – полковник Пётр Тягаев! Эту бы весточку благую в Москву передать, Ольге Романовне, места себя не находящей, так долго о сыне ничего не знающей. И крепла вера – перевернётся грозная эта веха, и схлынет красная нечисть, полонившая Россию, и белые рати в

Москву с победой войдут. И так ясно виделась эта картина! Купола золотые, благовест, а по широким московским улицам маршируют белые полки, встречаемые цветами…

И в таком-то расположении духа пришёл капитан Вигель в этот июньский вечер проститься перед отбытием на другой фронт с генералом Врангелем. Сперва ожидал в маленькой прихожей, где толпились адъютанты и ординарцы командующего: у Петра Николаевича ещё не окончился приём. Входили и выходили из кабинета люди. То и дело доносился властный голос барона, отдававший какие-то распоряжения. Часто долетало знакомое: «Отлично, превосходно!» И выходили счастливые похвалой генерала офицеры. Наконец, иссяк казавшийся неиссякаемым поток, и капитан смог войти.

В маленьком кабинете фигура Врангеля, слегка пригнувшаяся в оконном проёме, казалась ещё выше. Приветствовал радушно. Ещё со времён операций на Северном Кавказе сложились отношения между ними. А поговорить не успелось. Доложил вошедший адъютант:

– Автомобиль подан, ваше превосходительство!

– Отлично, превосходно… – Пётр Николаевич обернулся к Вигелю. – Я еду осматривать позиции на подступах к городу. Нужно позаботиться о хорошем их укреплении. Не желаете составить мне компанию?

– Сочту за честь, ваше превосходительство.

В лучах заката всегда по-другому видится всё, нежели днём. Цветы и травы, устав от зноя, клонятся к земле, и уже не печёт солнце, не слепит глаз. Автомобиль выехал из города, поднимая за собой столбы пыли – давно ждала дождей потрескавшаяся от жары земля. Лицо генерала было озабоченным. Острым глазом он замечал всякую мелочь, иногда давал короткие распоряжения адъютанту. Этот человек, видимо, обладал завидным иммунитетом к победной эйфории. Даже самые крупные победы не пьянили его чрезмерно, не затмевали рассудка. Только вчера пал к его ногам Царицын, а будто бы это уже давно было. Уже и позабыл. И весь устремлён вперёд. К новым операциям. И просчитывает их на много шагов вперёд, и в туманной дали что-то угадывает взор стальных, а притом не теряющих теплоты глаз.

– Нет ли вестей от вашего брата? – спросил Пётр Николаевич.

– Пока никаких. Связь с Сибирью у нас, к сожалению, налажена не так хорошо, как хотелось бы.

Едва заметная тень пробежала по лицу генерала:

– Если бы мы соединились с Сибирской армией, то, возможно, вы могли бы уже лично обнять вашего брата. Признаться, мне немного жаль, что он теперь не здесь, не на Юге. С его боевым опытом ему бы нашёлся достойный пост в нашей коннице. Хотя, вероятно, и там его талант востребован. Может, даже там он нужнее. В Сибири нет такого числа хороших кавалерийских командиров, как на Дону и Кубани… Когда бы фронт был един – так и дополнили бы друг друга, и сообща раздавили бы «товарищей».

Да, не ошибся Вигель, когда ещё в кабинете ощутил, что настроение командующего сильно отлично от его собственного. Давно шли толки о расхождениях в вопросах стратегии между Ставкой и штабом Кавказской армии. Ах, как скверно это, как скверно… И теперь совсем не вдохновлён Врангель московским приказом. Хоть и ни слова об этом, но между слов, но в тоне – читается. Напрямик не сказал ничего. Да и Николай не спросил. Не захотел спрашивать. Угадывал, что ничего хорошего не прозирает впереди дальнозоркий генерал, а худого не хотелось слышать теперь, собственной радости туманить не хотелось отчаянно. А наоборот – отдаться ей, порыву стремительному отдаться всецело, и просто, по-солдатски исполнять приказ – идти на Москву! Подсказывала, правда, логика, что в отношении соединения с армией Колчака прав был Врангель. Сообща действовать всегда сподручнее. Но… Но и не безграмотные же люди в Ставке сидят! Хоть бы и Деникин сам! Тоже, должно быть, продумывали, как лучше, и резоны их весомы несомненно. Да и при том, как семимильными

шагами вперёд движемся, неужто до Москвы не дойдём? И Москву ощущал Вигель, как уже взятую.

Загрохотало где-то впереди раскатисто. Запрыгали вспышки по темнеющему небу.

– Никак большевики прорываются, – насторожённо заметил адъютант. – Какие будут приказания, ваше превосходительство?

Мог бы и не спрашивать, впрочем.

– Поезжайте туда!

– Слушаюсь!

Это точно вылазка большевиков была. Уже вскоре показались люди: женщины с детьми, бежавшие из предместья, где разгорелось сражение. А потом и солдаты замелькали. И конные. Люди узнавали генерала, бросались к автомобилю, тянули руки, женщины плакали. Кажется, каждый мускул напрягся в лице Петра Николаевича, и совсем сухим стало оно. И сам он вытянулся, как струна. Наконец, приказал остановиться, поднялся, крикнул громово, отрезвляя не терпящим возражений голосом перепуганных людей, сгрудившихся вокруг:

– Что здесь происходит?! – подъехавшему офицеру. – Доложить немедленно!

– Красные, ваше превосходительство! Заставу нашу смяли!

– Всем остановиться! Смирно! Солдатам и офицерам – немедленно повернуть назад! Держать оборону! Женщины, заберите детей и расходитесь! Никакой угрозы городу нет!

И хотели верить, и сомневались – велики глаза у страха. Метались. А ещё загорелось где-то, небо кроваво окрасив – снаряд в нефтяной склад угодил? И не прекращалась беспорядочная стрельба совсем близко. Ко времени подоспел конвой командующего.

– Коня! – громыхнул Врангель.

– Ваше превосходительство, да поберегите же вы себя! – взмолился адъютант.

Но уже не слышал его Пётр Николаевич. Пока подавали коня, успел бросить Вигелю:

– Будем живы – встретимся ещё! Если получите вести от брата, отпишите. Удачи вам, капитан! – и вскочил на коня, и во главе конвоя устремился прямо навстречу зареву, туда, где гремел бой, скрылся во мгновение ока в клубах поднятой пыли…

Глава 2. Крушение

29 июля 1919 года. Окрестности Челябинска

…А как всё славно начиналось этой весной! Город за городом освобождался от насильников и встречал белые войска. Уже и к Волге энергично путь торили, занимая оставленные по осени Волжанами территории. На Святой неделе так и вовсе светились все, обнадёженные успехами армии, известия о которых передавались изустно, обрастали легендами, преувеличивались изрядно. То, что на деле не всё так блестяще, как хотелось бы верить, каппелевцы смутно понимали. Им, в Кургане застрявшим, трудно не понимать было, на себе «заботу» Ставки испытывая.

В Курган волжские части были отправлены на отдых и переформирование. Волжский корпус должен был состоять из Самарской, Симбирской и Казанской пехотных дивизий и Волжской кавалерийской бригады. Это были уже не те отряды в несколько сотен человек, с которыми Каппель начал свою борьбу на Волге – здесь были тысячи, которые надо было обучить, обмундировать, вооружить, а главное, воспитать. Работы было очень много, но Каппель ее не боялся – страшнее было другое. Омск так и остался противником Каппеля. Верховный правитель был искренен и благороден, но короля, как известно, играет свита. А свиту волжский герой раздражал. Жаловал царь, да не жаловал псарь… Ставку раздражала настойчивость, которую проявлял Каппель, требуя все необходимое для своего корпуса. Если Каппель в отношении самого себя не проявлял никаких претензий, то людям доверенным ему он старался всегда дать все то, что полагается. На Волге было проще – с Самарским правительством Каппель мало считался, и все что добывал в боях, сам и распределял между частями. Все нити управления в этом отношении сходились к нему. А здесь должен он был – просить. Сама эта необходимость вставшая – всего просить у Ставки – раздражала его до последней крайности. Просить то, что положено было по праву. Просить для общего дела. Просить, будто бы это ему одному, генералу Каппелю, нужно было корпус этот формировать. Для людей, которые шли и скоро снова пойдут на тяжкие испытания, может быть, на смерть ради Родины, нельзя просить! Им должны давать все необходимое. Владимир Оскарович знал, что на складах Омска лежало обмундирование, которого хватило бы на три таких корпуса, а его части все еще щеголяли в том подобии обмундирования, в котором пришли с Волги, лишь подлатанном да постиранном, и жители Кургана, глядя на них, с сомнением качали головами:

– Неужели эти оборванцы могли так воевать на Волге?

Выработанные на основании опыта и законов штаты трех пехотных дивизий и кавалерийской бригады были с самого прибытия Каппеля в Курган отправлены в Омск. Проведенная в начале Девятнадцатого года мобилизация должна была дать людей, но и их не было. Получалась тяжелая картина, когда части состоят из одного командного состава. Не было в достаточном количестве оружия, конский состав почти отсутствовал, хозяйственные части не имели самых минимальных запасов. Нужно было создавать, творить, работать, но материала для творчества не было. Формирование корпуса стояло на мертвой точке. Обещаны были пополнения им. Но обещанного, как известно, три года ждут. А ждать-то смерти подобно было! В стихийную эту пору быстрота действий, если и не всё, то очень многое решало. А потому, едва успев обосноваться в городе, стал Владимир Оскарович пытаться дозвониться до Ставки, до главы её, пресловутого генерала Лебедева. День, другой, третий – без толку. Собрались старшие офицеры на совещание. И Тягаев первым предложил:

– Не стоит ли обратиться напрямую к адмиралу? Попросить его ускорить формирования? – а сам о Кромине подумал: через него всего легче действовать в этом направлении.

Но Каппель не согласился. Не в его характере было жаловаться.

– Нет, Пётр Сергеевич, к этому средству мы не будем прибегать. Мы здесь многого не знаем. Верить не могу и не хочу, чтобы Ставка мне мешала. Мы творим одно дело, – может быть, уже все заготовлено, может быть, отправлено… Но требовать буду, не просить, а требовать. И добьюсь! – с этими словами генерал достал из шкафа бутылку коньяка и, когда рюмки были наполнены, произнёс:

– За работу, за успех ее, за победу, за Россию, за всех вас!

– Мы всегда с вами и с Россией, Владимир Оскарович, – тихо ответил кто-то из присутствующих.

А на другое утро, наконец, состоялся телефонный разговор с Лебедевым. Разливался главнокомандующий в славословиях, и любой важный вопрос в этом елее утопал. Но Каппель вокруг да около не стал ходить, в лоб вопрос поставил, почему Ставка так и не выслала ни обмундирование, ни оружие, ни людские пополнения для развертывания корпуса. А в ответ безмятежнейше, чуть ли не с позёвыванием:

– Но, дорогой Владимир Оскарович, это же пустяки. Отдохните сами, дайте вашим орлам отдохнуть. Всё будет предоставлено, но подождите немного – недели две, три. Сейчас идет разработка плана весеннего наступления, согласно моего большого проекта. Нужно все прикинуть, учесть, распределить, наметить. Понимаете сами, что быстро это все не провести. Частям на фронте нужно все дать в первую очередь. Требует Пепеляев, требует Гайда. Ваши все планы и требования я читал, и вполне с ними согласен, но повремените. Вся ставка работает теперь у меня чуть не круглые сутки, и скоро мы сможем удовлетворить и ваш корпус. Мы, – Верховный Правитель и я, – не беспокоимся за ваш корпус – вы в неделю сделаете то, на что другим нужен месяц. Как устроились? Завели ли знакомства? У меня в Ставке смеются, что одним своим появлением такой герой и красавец, как генерал Каппель, покорит сразу половину населения Кургана, особенно его женскую половину… – и снова елей полился – хоть отмывайся от него.

И, как белый день, ясно становилось: надеяться, как всегда, только на самих себя Волжанам оставалось.

Как не тяжко было сложившееся положение, а всё-таки рад был Тягаев выдавшейся передышке. Как не отдан он был до последней частицы Долгу, а есть и предел человеческих сил. Когда-то и их восстанавливать надо. К тому же Курган сразу приглянулся Петру Сергеевичу. Хороший провинциальный городок, тихий, уютный. Дома деревянные из-под высоких, каких в Петербурге не бывало, голубоватых сугробов, выглядывали, светили заиндевевшими оконцами. Люди жили размеренно, спокойно. И впервые не раздражило Тягаева подобное спокойствие в лихую годину. После стольких месяцев холода, голода, бесконечных походов и боёв так сладко оказалось окунуться в атмосферу мирной жизни. Отсыпался полковник, приходил в себя первые две недели. А потом…

– Дамы и господа, сегодня в нашем городе даёт концерт королева русского романса Евдокия Криницына! Вырученные средства целиком пойдут на нужды Волжского корпуса!

Она – приехала! Концертов дала не один, а целых три. Один – непосредственно для Волжан. И не только выручку от них передала на нужды корпуса, а ещё и из личных средств немалую сумму. А на каждом концерте исполняла Евдокия Осиповна романс на стихи Гумилёва:

– Пощади, не довольно ли жалящей боли,
Тёмной пытки отчаяния, пытки стыда!
Я оставил соблазн роковых своеволий,

Усмирённый, покорный, я твой навсегда.

Слишком долго мы были затеряны в безднах,
Волны-звери, подняв свой мерцающий горб,
Нас крутили и били в объятьях железных
И бросали на скалы, где пряталась скорбь.

Но теперь, словно белые кони от битвы,
Улетают клочки грозовых облаков.
Если хочешь, мы выйдем с тобой для молитвы
На хрустящий песок золотых островов.

И надо было совершенным валенком быть, чтобы не понять, не почувствовать, что романс этой каждой строчкой к нему обращён был, как остриём рапиры – в сердце.

В корпусе приезд Криницыной вызвал восторг. Никакого труда ей не стоило немедленно завоевать сердца всех в нём. С первого выступления стала она всеобщей любимицей, для Волжан – своей, родной. И не спешила Евдокия Осиповна уезжать. Поселилась в небольшом домике, в тихом, отдалённом от центра квартале. Ждала?..

Нет, не могло так продолжаться дольше. Жалящей боли достаточно было обоим им. Вьюжным февральским вечером подошёл Тягаев к заветному дому. Постучал в дверь, гадая, сама ли откроет она, или хозяйка, которой дом принадлежал? И томился от того, что так и не смог подходящих для момента слов найти, как ни старался придумать нечто связное. Мялся на крыльце с ноги на ногу, от снега метшего белый весь. Евдокия Осиповна открыла сама. Платье тёмное, пуховый платок на плечах. Будто бы похудела за это время, или кажется только? Отступила на шаг, приглашая войти, закрыла дверь, оглянулась, улыбнулась губами подрагивающими:

– Да вы в снегу весь… Сейчас! – и стала снег с плеч его смахивать. – Давайте мне шинель вашу. Вы, должно быть, замёрзли? Там… Печь натоплена… Погрейтесь!

Шинель взяла Криницына как-то трепетно, понесла, прижимая к груди, как что-то дорогое, и повесила бережно. А у дверей комнаты, куда провела полковника, остановилась вдруг, ладони к губам поднесла – платок её в этом момент с плеч соскользнул и на пол упал, а и не заметила. На глазах слёзы выступили.

– Пётр Сергеевич, милый, если бы вы только знали, как я вас ждала…

Рванулся к ней Тягаев, стиснул в объятиях, сам себя не узнавая, страсти такой прежде не ведая в себе. Сказал ли что хоть? Или так и не нашёлся? Не упомнил. Как во хмелю был.

Уютно было в этом маленьком деревянном домишке. Тихо-тихо. Только печь потрескивала, озаряла часть комнаты мягкими, огнистыми отсветами. Да ещё за окном завывала вьюга, уже до половины замётшая узорные окна. И отвычно тепло было. От печи, от одеял мягких, от Дунечкиной близости…

– Знаешь, Петруша, у меня ведь только два дорогих человека в жизни было. Покойный дядюшка и ты, – она сидела, укутавшись в одеяло, не сводя с Петра Сергеевича чудных глаз. И хоть чувствовал Тягаев тепло её, а казалось, будто бы какое-то неземное создание рядом – вот-вот вспорхнёт и исчезнет в ночи. И от мысли этой на миг страшно сделалось: привлёк её к себе. А Дунечка продолжала: – Дядюшка меня к жизни вернул, он мне жизнь открыл, мир открыл, людей. Талант мой открыл. Меня людям открыл. А ты мне меня саму открыл, вернул. Я ведь и подумать не могла, что такой быть могу, что такое счастье бывает!

Чудно признаться было, но и сам Пётр Сергеевич не подозревал, что бывает такое счастье. Называется, жизнь прожил, до седых волос и полковничьих погон. Женат был… Был?

А теперь уж вроде и… Об этом не стал думать. Не к месту. Ведь почти упустил в жизни – столь важное. А теперь на излёте, среди ада разверзшегося – узнавал.

– Ангел мой, ты теперь единственное моё счастье, другого у меня не было и не будет.

Утром не ушёл Тягаев от Дунечки. Не смог… Да и какой смысл прятаться? Шила не утаишь в мешке. Все на виду друг у друга. А секрет Полишинеля разыгрывать, пожалуй, всего глупее и смешнее было бы.

Оказалась Евдокия Осиповна замечательной хозяйкой. Вот уж не ожидал Пётр Сергеевич! Откуда бы такие навыки? Такой превосходной стряпни и дома есть не приходилось. Разве что в детские годы. В родительском доме. Накрыв на стол, Дунечка садилась сбоку и, пока Тягаев ел, смотрела на него с такой неизъяснимой нежностью, что ещё вкуснее каждый кусок казался. Никогда такого взгляда у Лизы не было… Не в пронос жене думал Пётр Сергеевич (ещё бы ему её судить после всего!), но и не мог удержаться от сравнения. Лиза обычно выходила к столу сосредоточенная, углублённая в свои мысли – то ли статью какую писала, то ли уроками для подопечных своих занята была. И спрашивать о чём-то бесполезно её было: отвечала рассеянно и невпопад, неохотно возвращаясь от дел своих. Иногда читала газеты или книгу – времени другого не хватало на это. А если говорила то: или о своих делах, или же о каких-то домашних срочных. А так, что бы сесть рядом, подперев рукой голову, и посмотреть просто и ласково… А Дунечка смотрела, и растворялся полковник в этих глазах, исцелялась душа измученная.

Долга, однако же, не заставило забыть Тягаева даже это свалившееся нежданно счастье. Вовсю велись занятия. Устав внутренней службы и дисциплинарный многие из добровольцев, особенно татары, слышали впервые. Каппель сурово требовал усиленных занятий, не давая этим возможности зарождаться в головах людей чувству обиды в отношении к Омску. Проверенные и утвержденные им расписания занятий в частях занимали почти весь день, не оставляя времени для праздности и праздных мыслей. Помощи от Омска так и не было. Владимир Оскарович разослал по всему уезду и за его пределы верных людей, чтобы, не жалея денег, они свезли в Курган все, что необходимо для корпуса. По деревням в нынешнее время можно было купить все, до пулеметов включительно. Даже лошадей пришлось самим закупать, так как Омск уведомил, что не может обеспечить ими корпус. Среди Волжан нет-нет, а слышался ропот на Ставку: обидно было быть пасынками… Но обрывал решительно Каппель подобные разговоры, свои переживания в себе таил. Своим людям генерал говорил:

– Помните, друзья-добровольцы, вы – основа всего Белого движения. Вы отмечены на служение Родины перстом Божиим. А поэтому идите с поднятой головой и с открытой душой, с крестом в сердце, с винтовкой в руках тернистым крестным путем, который для вас может кончиться только двояко: или славной смертью на поле брани, или жизнью в неизреченной радости, в священном счастье – в златоглавой матушке-Москве под звон сорока сороков.

Уж как предан был Долгу Тягаев, а, вот, привелось встретить человека ещё более преданного, самоотреченного. Владимир Оскарович избегал общества и, всецело отдавшись работе, знал только свой штаб и свои части. Один вечер как-то потратил на праздничный обед с офицерами и под конец не преминул заметить:

– В эту ночь мы пережили много незабвенных дружеских часов, но эту ночь мы украли у нашей родины России, перед которой у нас есть один долг: напрячь и удвоить нашу энергию для ее освобождения…

Грянули «ура» в ответ.

Тратить же время на личную жизнь Каппель не мог себе позволить. А ведь с ним здесь были – двое детей его. Детей, лишившихся матери, оказавшейся в плену у красных. И зная,

какая участь грозит ей там за него, продолжал генерал своё служение, и Бог один ведал, что творилось на душе у него.

«Каппелевцы» – так гордо именовали себя Волжане. Но официального присвоения своего имени хотя бы даже одной части категорически не допускал Владимир Оскарович:

– Я не царской крови, чтобы это разрешить! И не атаман!

Перед генералом невольно совестился Пётр Сергеевич, за собственное счастье ощущая неловкость. В такое время и грешно уже как будто бы счастливым быть?.. А с другой стороны, когда прежде счастлив был Тягаев? Благополучен был, спору нет. А счастья и не ведал. Что же гнать его от себя? Каждый день вёл Пётр Сергеевич занятия с рядовым составом. Обучал каждой мелочи. Укрощал свою раздражительность и вспыльчивость, всегда являвшуюся в нём при необходимости объяснять кажущуюся ему простую вещь несколько раз. К вечеру выматывался, как после боя, а приходил домой, видел Дунечку – и как рукой усталость снимало.

Уже ни для кого не секрет были их отношения. И стало это привычным, само собой разумеющимся. Иногда по вечерам гуляли с Евдокией Осиповной по тихим улочкам. Хрустел приятно снег под ногами, как спелое яблоко. И приятно было чувствовать Дунечкину руку под локтем своим, и голову её, в шапочке пушистой, очень идущей ей – на своём плече. По просьбе её читал ей стихи вполголоса. Вечно бы мгновения эти длились!

Но вечного – ничего нет. В такое время – особенно. Однажды утром вызван был Пётр Сергеевич к Каппелю. Генерал сидел за столом взвинченный, словно в лихорадке, каким ещё не приходилось Тягаеву видеть его. Губы, в странной усмешке кривящиеся, нервно дёргались:

– Вот! – кивнул на лежавшую на столе телефонограмму. – Полюбуйтесь!

– Что это?

– Это – они нам пополнения дают! – Владимир Оскарович картинно округлил глаза. – И большие! – подавил нервный смешок. – Из Екатеринбурга! – и докончил, как добил: – Пополнение из пленных красноармейцев!

Так и осел Пётр Сергеевич на стул рядом стоявший, провёл рукой по лицу:

– Это же… Это же… смерти подобно! Такое пополнение не усилит корпус, а лишь ослабит его! Непроверенная, непрофильтрованная масса бывших красноармейцев непременно поглотит старые кадры, и в момент боевой работы от нее можно будет ожидать всего, что угодно! – выдохнул сорванно. А для кого? Сам Каппель сидел за столом, сжав руками голову, потемневший лицом, с глазами страшными, как некогда на Аша-Балашовском заводе. Лишь через десять минут он заговорил глухо, едва разжимая губы:

– За этими пленными красноармейцами я должен ехать в Екатеринбург и там их принять. Они, как здесь написано, сами пожелали вступить в наши ряды и бороться с коммунизмом, но… Их так много этих «но»… – покачав головой, продолжал, постепенно возвышая голос, набирая уверенности: – Всех поделить между частями… Усилить до отказа занятия, собрать все силы, всю волю – перевоспитать, сделать нашими – каждый час, каждую минуту думать только об этом. Передать им, внушить нашу веру, заразить нашим порывом, привить любовь к настоящей России, душу свою им передать, если потребуется, но зато их души перестроить! – генерал быстро заходил по комнате: – Их можно, их нужно, их должно сделать такими как мы. Они тоже русские, только одурманенные, обманутые. Они должны, слушая наши слова, заражаясь нашим примером, воскресить в своей душе забытую ими любовь к настоящей родине, за которую боремся мы. Мы обязаны забыть о себе, забыть о том, что есть отдых – все время отдать на перевоспитание этих красноармейцев, внушить нашим солдатам, чтобы в свободное время и они проводили ту же работу. Рассказать этому пополнению о том, какая Россия была, что ожидало ее в случае победы над Германией, напомнить какая Россия сейчас. Рассказать о наших делах на Волге, объяснить, что эти победы

добывала горсточка людей, любящих Россию и за нее жертвовавших своими, в большинстве молодыми, жизнями, напомнить, как мы отпускали пленных краснармейцев и карали коммунистов. Вдунуть в их души пафос победы над теми, кто сейчас губит Россию, обманывая их. Самыми простыми словами разъяснить нелепость и нежизненность коммунизма, несущего рабство, при котором рабом станет весь русский народ, а хозяевами – власть под красной звездой. Мы должны… – уже глаза в глаза смотрел, как заклиная: – Мы должны свои души, свою веру, свой порыв втиснуть в них, чтобы все ценное и главное для нас стало таким же и для них. И при этом ни одного слова, ни одного упрека за их прошлое, ни одного намека на вражду, даже в прошлом. Основное – все мы русские и Россия принадлежит нам, а там в Кремле не русский, чужой интернационал. Не скупитесь на примеры и отдайте себя полностью этой работе. Я буду первым среди вас. И если, даст Бог, дадут нам три, четыре месяца, то тогда корпус станет непреодолимой силой в нашей борьбе. К вечеру будет написан полный подробный приказ обо всем этом. Когда я их привезу, то с самого начала они должны почувствовать, что попали не к врагам. Иного выхода нет и, если мы хотим победы над противником, то только такие меры могут ее нам дать или, во всяком случае, приблизить. Да, нас наверное спросят, за что мы боремся и что будет, если мы победим? Ответ простой – мы боремся за Россию, а будет то, что пожелает сам народ. Как это будет проведено – сейчас не скажешь – выяснится после победы, но хозяин страны – народ и ему, как хозяину, принадлежит и земля, – утомлённый нервным порывом Владимир Оскарович опустился на стул, добавил негромко: – Вы, Пётр Сергеевич, знаете мои убеждения – без монархии России не быть. Но сейчас об этом с ними говорить нельзя. Они отравлены ядом ложной злобы к прошлому и говорить об этом с ними – значит только вредить идее монархии. Вот потом, позднее, когда этот туман из их душ и голов исчезнет – тогда мы это скажем, да нет не скажем, а сделаем, и они первые будут кричать «ура» будущему царю и плакать при царском гимне…

Из Екатеринбурга Каппель привёз более тысячи красноармейцев. Старые Волжане растворились в их массе. Наступила для волжских офицеров страдная пора. Многие из прибывших были пропитаны во время службы в красной армии соответствующим направлением, и приходилось много работать, чтобы перевоспитать их, согласно приказу Каппеля, а во многих случаях и проверить их лояльность. Это требовало, прежде всего, времени, и, полагая, что на полное формирование корпуса, проверку прибывших людей, знакомство с ними и организацию сильной боевой единицы, его будет дано достаточно, все старшие и младшие начальники, не жалея себя, принялись за работу. Владимир Оскарович, как всегда, показывал пример своим подчинённым. За три недели с момента прибытия пополнений генерал потерял представление о времени, о дне и ночи, о том, что когда-то нужно спать или обедать, мотаясь из полка в полк, из роты в роту, с утра до вечера и часто по ночам. Даже старые Волжане, знавшие его неутомимую энергию, теперь удивлялись, не понимая, как может человек выносить такой нечеловеческий труд. Наконец, результаты этой самоотверженной работы стали сказываться. Корпус был почти очищен от подозрительного элемента. Теперь нужно было ещё два-три месяца, чтобы закрепить первые результаты, и тогда можно было бы вести корпус в бой…

И в этот момент, как гром среди ясного неба, из Омска пришла телеграмма: «Комкору 3 генералу Каппелю. По повелению Верховного Правителя вверенному вам корпусу надлежит быть готовым к немедленной отправке на фронт. Подробности утром. Начальник Ставки Верховного Правителя генерал Лебедев»…

Немыслимо было! Преступно! Единственная рука ходуном ходила, когда проклятую эту телеграмму держала… А на генерала смотреть больно было. Закопались доморощенные стратеги из Ставки – как белый день, ясно. Затрещал фронт. Стратегов этих лично на ближайших фонарях вздёрнуть приказал бы Пётр Сергеевич. И не теперь! А раньше ещё!

Раньше – когда утверждали план наступательных операций. Два варианта действий на выбор было. Или выставить заслон в направлении Вятки и Казани, а основные силы отправить на Самару и южнее, чтобы у Царицына соединиться с Добровольческой армией. Или же направить главный удар на Вятку и Казань, чтобы выйти к Архангельску и перекинуть туда базу из Владивостока. Ни малейшего сомнения не было у Тягаева, что первый вариант бесспорно предпочтительнее. Ещё Драгомиров учил: врага надо бить кулаком, а не растопыренными пальцами. И, в первую голову, нужно идти на соединение с Деникиным. К тому же в южном направлении легко увлечь за собой чехов, рвущихся на родину. И край богатейший был там – всю Россию прокормить и отопить хватило бы. Но наверху рассудили иначе: генерал Гайда, бывший больше авантюристом, нежели полководцем, мечтал въехать первым под бело-зеленым знаменем в Москву, начальник Ставки Лебедев считал, что население северных губерний настроено против большевиков, генерал Нокс желал через освобождение от большевиков Вятки организовать снабжение армии Колчака по северным рекам. Поэтому главный удар Ставка Колчака стала готовить не в направлении Самары – Астрахани, где можно было соединиться с уральскими казаками и силами Деникина, а в направлении Вятки – через дремучие леса и болота, сильно замедлявшие возможности маневра.

Но если бы только это! Де-факто армия двинулась сразу по обоим направлениям, враздробь, разрывая фронт – всем стратегическим нормам наперекор! И Западную армию, на Юг наступавшую слабили, за счёт неё вдвое усилив Сибирскую.

Упрекать за стратегические просчёты адмирала не приходилось. Попробуйте-ка вверить сухопутному военачальнику флот – долго ли он на плаву продержится? Так и флотоводец не мог сухопутные операции достаточно разбирать. Но генералы-то? Ведь не сам же Александр Васильевич план операций составлял! Ведь окружали его советники – из армейцев! А они – военной науки на зуб отродясь не пробовали?.. А выскочку Лебедева этого, из молодых, да раннего – гнать ещё когда бы поганой метлой. Доверить ему Ставку! При нём особым шиком стало нормы стратегии презирать. Что там опыт, веками накопленный! Они – лучше придумают! И придумали…

За два месяца почти непрерывного наступления Западная армия выдохлась. Новые пополнения приходили редко, к тому же они были плохо обученные. Одним из них был «курень» украинцев-сепаратистов имени Тараса Шевченко, созданный при участии сторонников Украинской Рады и гетмана Скоропадского. Еще до прихода на фронт «курень» был распропагандирован большевиками, воспользовавшимися тем, что правительство Колчака избрало при проведении своей политики великодержавный курс, который исключал существование независимой Украины. Неожиданно для командования Западной армии курень восстал, перебил своих офицеров, захватил артиллерию. После этого он окружил один из полков шестого Уральского корпуса, солдаты и офицеры которого ничего не подозревали. Этот полк, личный состав которого в большинстве своем состоял из насильно мобилизованных крестьян Акмолинской губернии, уже поднимавших восстания против службы в белой армии, также перешел на сторону мятежников, которые, по всей видимости, были связаны с красными частями на фронте. В образовавшуюся брешь, закрыть которую было нечем, хлынули красные. Ханжин, генерал от артиллерии, с тактикой пехоты был знаком мало и не мог проявить знания опытного пехотного офицера, что, одновременно с почти полным отсутствием резервов, сделало ситуацию близкой к катастрофической. Белогвардейское командование в лице Лебедева не нашло ничего лучшего, как срочно бросить в бой недоформированный корпус Каппеля, хотя была прекрасная возможность перебросить с северного направления подразделения Сибирской армии.

Колотило Волжан. Сами закопались, а нами – дыры затыкать теперь? Гибель верная! И корпуса-то нет, как такового! Состав частей почти на восемьдесят процентов состоял из привезенных три недели назад пленных красноармейцев. Их не то что перевоспитать, но

и достаточно познакомиться с ними командиры частей не успели. Верить этой чужой еще массе нельзя было, тем более, что было несколько случаев обнаружения среди пополнения специально подосланных коммунистов-партийцев. Прежде корпус был невелик, но монолитен, существовал, как единый организм, и командир мог ручаться за каждого своего бойца, и эта вера друг в друга, во многом, обеспечивала победу, теперь же эти проверенные бойцы были утоплены в ненадёжных пополнениях, и всякий план стало нужно составлять с учетом почти полной ненадежности частей, не имея уверенности ни в чём. Нарочно спросил Каппель командиров частей, собрав их у себя:

– Вы верите в своих солдат, вы знаете их?

– Нет, – коротко отозвались офицеры.

По телефону Владимир Оскарович связался с начальником Ставки Лебедевым, привел все имеющиеся у него доводы, доказывая бесполезность отправки корпуса на фронт в настоящем его состоянии, рисовал катастрофу, которая может произойти. Он говорил долго, горячо, не в силах сдержать боли, Лебедев слушал, не прерывая, а когда Каппель остановился, ответил коротко, приговорил бестрепетно:

– Генерал Каппель, вы получили приказ? Завтра корпус должен выступить в полном составе в распоряжение Командарма три.

Приказ нужно было выполнять… В настроении похоронном собирались спешно. Город как будто и не сильно встревожен был. Ещё угрозы себе не чувствовал. Да и дни какие стояли! Майские! Безоблачно-светлые, благоухающие… Листва шумела отрадно, солнышко только-только припекать начинало, в силу входить. О плохом – не думалось.

Перед отъездом успел Тягаев на час к Дунечке зайти проститься. Она уже знала обо всём – не зная, сможет ли выбраться, послал к ней Пётр Сергеевич Доньку с короткой запиской. Ждала, на крыльцо поминутно выходя. Лишь подошёл, схватила за руку, к лицу поднесла, прижалась щекой:

– Если бы ты не пришёл, я бы сама на вокзал приехала, – подняла глаза, от слёз туманившиеся. – А, может быть, мне поехать можно?

– Нет, – решительно ответил полковник. – На фронте тяжёлая обстановка, к чему приедем, и что там будет – мы сами не представляем. Сюда уж вряд ли возвратимся…

– А куда же?..

– Я ничего не знаю, – удручённо качнул головой Пётр Сергеевич. Он вновь поймал себя на мысли, что с Лизой никогда не было ему прощаться так тягостно. С ней прощались всегда легко. А с Дунечкой – словно душу надвое разрывал.

– А ты, ты здесь останешься?

– Пока да. Я от тебя письма ждать буду… Я понимаю, Петруша, что там не до писем. Но ты хоть два слова… Просто, что жив… Хорошо?

– Конечно. И сам не смогу иначе. Не писать тебе, не получать вестей от тебя. Если в этой проклятой круговерти мы потеряем друг друга…

Тонкие, тёплые пальцы замкнули губы полковника.

– Нет! Нет! Я никогда тебя не потеряю. Я тебя везде найду, – так уверенно и твёрдо прозвучали эти слова, что от сердца отлегло. Смотрел Тягаев на Дунечку – наглядеться не мог. Хрупкая она была, ранимая, нежная, а при том – сколько сил, сколько выдержки, сколько воли и решимости. И отваги. И как не быть им у женщины, за годы войны все фронты исколесившей? Это лишь в русской женщине так сочетается: очаровательная слабость с силой душевной, мягкость, обволакивающая, в себе растворяющая – с твёрдостью перед лицом испытаний, податливость, собственное «я» забывающая – с волей… А, впрочем, может и не только русских женщин это достоинство? Других Тягаев не знал.

Ранним утром эшелоны Волжан двинулись на фронт. В дороге ещё «порадовали» – части корпуса размётывались по разным участками. Кавалерию и артиллерию (коренных

Волжан!) приказано было передать в распоряжение казачьего генерала Волкова. Осталась одна пехота (и она сосредотачивалась частями) – из красноармейцев большей частью. С ними и воевать только… Владимиру Оскаровичу, между тем, вручалось командование всем Самарским направлением.

Тринадцатого мая произошла катастрофа, какой и боялись более всего. Симбирская бригада перешла на сторону красных. Солдаты, набранные из красноармейцев, уводили с собой офицеров. Известие об этом Каппель получил на станции Белибей, куда прибыл накануне и рядом с которой развёртывались бои. Здесь же находился и Верховный Правитель, в тяжёлый момент чувствовавший себя обязанным быть на фронте. Тягаев не видел адмирала полгода. И сейчас при взгляде на него одна мысль-чувство мелькнула: «Несчастный благородный страдалец!» Ему только-только показали выводимые в тыл части двенадцатой Уральской дивизии. Люди были без обуви, в верхней одежде на голое тело, или же вовсе без шинелей. Прошли чинно церемониальным маршем. Остановились. Отдали честь. Адмирал начал говорить что-то, но сбился – отказало красноречие от горечи, вызванной таким беженским видом героев. И кто-то из них сказал громко, прочувственно:

– Да не надо ничего говорить, ваше превосходительство! Мы ведь всё понимаем…

Александр Васильевич выглядел потрясённым. Не мог он предполагать, что в таком состоянии могут быть армейские части. И о том, как издевалась Ставка над Волжским корпусом, не ведал. Пожалел Тягаев, что не убедил Каппеля обратиться напрямую к адмиралу. Или не напрямую – через Кромина. Надо было убедить, или по собственной инициативе через старого друга действовать…

В этот момент прибежал один из штабных офицеров с лицом опрокинутым, оглоушил известием:

– У нас несчастье! Один полк целиком перешёл к красным, захватив офицеров!

Это – Симбирцы были…

Показалось Тягаеву, что при сообщении этом даже качнуло Верховного, как будто почва из-под ног ушла. Потемнел ещё больше лицом, больными глазами посмотрел на Каппеля, вымолвил голосом, в котором слышались едва сдерживаемые истерические нотки:

– Не ожидал этого… – и, взяв себя в руки, попытался ободрить генерала: – Прошу вас, Владимир Оскарович, не падать духом…

Не падали… Уже и некуда падать было. День этот, тринадцатое мая, стал первым днём Катастрофы вооружённых сил Сибири. Остатки каппелевских частей, отступали с уральцами и сибиряками, неся под непрерывным огнём красных огромные потери. Больших усилий стоило собрать их. А собрав, впору взвыть в голос было. Третий корпус, на который потрачено было столько сил и энергии, практически перестал существовать. А ведь, если бы дали времени требуемого, то была бы это мощная сила, которая била бы большевиков! Да что теперь… Не вернуть…

Отступала, катилась назад стремительно Западная армия, снова оставляя недавно освобождённые города, срывая за собой тысячи беженцев, не успевая закрепиться, удержаться на какой-либо линии, на которой должно было бы остановиться и, подобравшись, снова идти вперёд. Штаб армии слал директивы: «упорно удерживать», «нанести стремительный удар», «энергично перейти в наступление»… Этот поток ненужных приказов не успевали даже расшифровывать. Распоряжались командующие группами сами по обстоятельствам.

В июле докатились до Челябинска. В это время командующим Восточным фронтом был назначен опытный генерал Дитерихс. Появились слухи, что вскоре он займёт место Лебедева. Да давно бы уж!.. Вот кому – карты в руки!

Михаил Константинович Дитерихс не входил в число полководцев, увенчанных победными лаврами, прославленных и известных. Его военная карьера не имела взлётов, а развивалась постепенно. Служить ему приходилось преимущественно на штабных должностях.

К работе штабной Михаил Константинович имел несомненный талант. Знаменитый прорыв Брусиловский, увековечивший имя его, был не в меньшей степени заслугой Дитерихса, являвшегося в ту пору генерал-квартирмейстером штаба Юго-Западного фронта и ближайшим помощником Брусилова, большую роль игравшим в разработке всех военных операций. В Семнадцатом успел Михаил Константинович послужить в той же должности в Ставке. При Духонине. Он покинул Могилёв перед самым приездом Крыленко с его головорезами и тем уберёгся от участи последнего Главкома. После этого оказался Дитерихс на Украине, там возглавил штаб Чехословацкого корпуса, с которым и добрался до Сибири. А в Сибири при Колчаке не нашлось опытному сорокачетырёхлетнему генералу места ни в Ставке, ни на фронте. Но нашлось совсем иное дело – Верховный Правитель отправил Михаила Константиновича в Екатеринбург расследовать обстоятельства убийства Царской семьи. И всё это время тем и занят был Дитерихс. К делу на совесть подошёл. Да и как бы иначе? Об убеждениях многих начальников сомневаться можно было, а о Дитерихсе точно каждому известно было: монархист до мозга костей. Он из Екатеринбурга уезжал, когда отступающая армия уже на подступах к нему сражалась. И успел все документы, улики, вещи, принадлежавшие Венценосной семье, переправить из города, спасти. А теперь, как грянул гром, так сперва вручили ему Сибирскую армию Гайды, с трудом из рук этого прохвоста вырванную, а теперь и весь Восточный фронт. На положение дел смотрел генерал мрачно. Он даже в дни побед на фронте, как говорили, далёк был от оптимизма и предрекал нынешнюю катастрофу. И теперь план его был: отвести армию сразу – за Тобол. Укрепиться там, переформировать и пополнить войска, а по весне перейти в наступление. Нужно было людей сохранить, кадры сохранить. Бесчисленные бои измождённой армии уже не могли нисколько спасти положения, но драгоценные жизни уносили. Даже победа, вдруг одержанная, не изменила бы хода дел, потому что сил уже не осталось. Только людей губить – а эти потери невосполнимы. Зачем и победа нужна, если армии не останется? Михаил Константинович правды не боялся. Не скрывал её ни от себя, ни от других. И от адмирала не скрывал. Но правды этой не желали знать. Слишком горька она была, слишком хотелось верить в лучшее. Дитерихса поддерживал военный министр Будберг, известный своим всегдашним пессимизмом.

Но пока оставался на посту злой гений… Лебедев. И метались в Ставке, не могли решиться на что-либо. Противники плана Дитерихса зашумели, что такое решение будет воспринято, как бегство и трусость. Знали чувствительные струны адмиральской души. И, вот, отдан был приказ о переходе в наступление. Переход этот, контрманевр, сражение генеральное назначили на последние числа июля под Челябинском. По мысли господ «стратегов» предполагалось уступить челябинский узел, а затем окружить красных ударными группами Войцеховского с севера и Каппеля с Юга.

Ещё накануне бригада полковника Тягаева закрепилась у небольшой речушки, мелкой, среднерослому солдату едва повыше колен. За ней в крупном селе держали оборону красные. К активным действиям пока не переходили, лишь постреливали с разной степенью интенсивности. Большевистский огонь част был, а ответного – никакого почти. Экономили патроны, которых привычно не хватало. Главная заповедь для белого воина: патроны и снаряды беречь пуще жизни – других не пришлют. Стрелять редко, но промаху не давать. Ожидали приезда Каппеля, чтобы перейти в наступление. А пока мёрзли в наспех вырытых окопах, кастерили тяжёлыми словами Ставку и интендантов – больше чем большевиков.

Погода не баловала третий день. Тусклое серое небо время от времени выдавливало противную морось, задувал северный, совсем не летний ветер. Не поверишь, что июль-месяц. Тягаева знобило. Вот, ещё глупость: всю зиму по сорокаградусным морозам проходить, а летом простудиться… Он сидел под натянутым в редкой рощице брезентом, курил трубку. Временами посвистывали пули вблизи, но и внимания не обращал – так привычно это стало. Наступление виделось ему делом, заранее проигранным. Не говоря об усталости

физической, но и настроения не было в войсках. Два месяца отступлений, бесполезных боёв и жертв не оставили места порыву, вере в победу. И моральных уже не было сил вновь теперь проделать тот путь, который лишь весной прошли. Про физические и говорить нечего. Большевики патронов не жалеют, а у нас – каждый на счету. И перевес численный на их стороне. С нужным настроем смяли бы и с перевесом, а так… Смотрел Тягаев на своих бойцов, и читал в их глазах только усталость. Да ещё раздражение на глупость вышестоящую.

– Всё, барин, бесовским зельем утешаешься? – это дед Лукьян подошёл, поморщился от дыма табачного. – Что-то Донька наш запропастился… Пора бы и вернуться ему…

Донька при полковнике исполнял обязанности вестового. Заметил Пётр Сергеевич, что немало мальчишек явилось на фронте. Большей частью, развозили почту, приказы. Целое подразделение сформировано было из таких молодцов. Много кадет среди них было, а ещё гимназисты. Из домов родительских бежали – умирать за Россию. Некоторым лет по двенадцать было. Доньке служба очень по душе пришлась. В Кургане он скучал, как и дед его. Оба рвались в бой. Зато на фронте – воспрянули. Даже отступление боевого задора их не отбивало. В Кургане Доньке пошили форму. Безукоризненно сидела она на нём. Смотрел на себя мальчонка в зеркало, поправляя широкий ремень, и светился радостью – это не сермяга его крестьянская была, настоящая форма! И шла она маленькому герою. Ещё и шинелишка была к ней, но для неё не приспела пора. Выучился Донька строевому шагу и иным армейским премудростям – на занятия ходил исправно. А на фронте выделили ему малорослую сибирскую лошадку – каурого, шерстистого гривача. Летал на нём юный вестовой, доставляя из части в часть приказы и донесения. За отвагу несколькими днями назад прицепил ему на грудь полковник первую в его жизни медаль, весело поблёскивающую на солнце. То-то счастье было для мальчишки! Сиял, как именинник, весь день, а ещё и поздравляли все. В его-то годы что отраднее может быть?

Этим утром Тягаев отправил Доньку с донесением в оперирующую по соседству часть. Нужно было уточнить кое-что для лучшей координации действий. Ускакал на своём кауром и не возвращался до сих пор – а время бы…

– Небось, на подвиги потянуло его, баламута, – качал белой головой кудесник. – Приедет – схлопочет… Дед на его еройства глядеть не станет…

В стариковском ворчании слышалась тревога. Пётр Сергеевич убрал трубку в карман, опустил руку на плечо Лукьяну Фокичу:

– Не переживай, отец. Вернётся Донька. Ты ли своего внука не знаешь? Он же из любого положения вывернется. Из любой передряги уйдёт.

Старик не ответил. Заметил лишь, глядя в сторону:

– Что-то и енерал запропастился… Когда наступаем-то, Петра Сергеевич?

– Как приедет генерал, так и пойдём, – отозвался Тягаев. – Вот, скажи мне, кудесник, что мы все-то запропастились? Вот, и ты всякий бой впереди с крестом шагаешь – а мы всё отступаем, отступаем… Или Бог не с нами? А?

– Бога не трожь, барин. Нам перед ним грехов наших вовек не отмолить… А что отступаем, так нечего было большаками войско растлевать. Или не знали, что на их креста нет? Что иуды? Таких ни один поп не докаит.

– Так других людей нам не дали, сам знаешь.

– А людей вам никаких не дали. Вам иуд дали на пагубу всему Христову воинству. И нечего было брать их! Пусть бы мала горсть была, да спаяна!

– Мы не в парламенте, чтобы приказы обсуждать, – сухо отозвался Пётр Сергеевич. – Скажи лучше, что дальше-то будет? Вовсе пропадём мы, как мыслишь?

– А мы ужо тебе, барин, мысли свои говорили. Говоришь, Бог не с нами? А мы – с Ним? Мы-то полностью ли отринули всякую скверну ради Божия дела? Сам ты, барин?.. – в суровых глазах старика мелькнула укоризна. Тягаев отвёл взгляд. Понимал он, на что кудесник

намекает, за что осуждает его. Ещё в Кургане не раз и не два встречал полковник неодобрительное это выражение в Лукьяновых глазах. И каждый раз делал вид, что не замечает. И старик черты не переходил, не напирал в открытую, а только головой качал. А теперь вырвалось:

– Не дело это, Петра Сергеич, не дело… Нехорошо.

А кто спорит, что хорошо? Никто не спорит. Хотя, по правде говоря, жгло – поспорить. Но не счёл Тягаев нужным оправдываться, перевёл:

– Армия выдохлась, Лукьян Фокич. Солдаты воевать не хотят, офицеры утратили готовность к жертвенности. Огня не осталось в сердцах, одни уголья, – делился наболевшим. Никому, кроме этого старца-старовера, не доверял он своих мыслей.

– Эх, барин! Что армия! Народ развратился совершенно – вот, где пагуба. Никто никому подчиняться не желает. Сколько годов живём, а не приходилось такого видеть.

– То-то и оно, что подчиняться не желают. Из Сибирской армии все мобилизованные утекли. Побросали винтовки – и по домам! И заставь-ка их винтовки опять взять! Они, если и возьмут, то против нас их направят, как только случай представится.

– Не веришь ты, барин, в народ, – констатировал кудесник.

Тягаев не успел ответить. Зачастила вдруг стрельба. Послышались крики.

– Что ещё там? Не обошли ли нас?

Быстро вышел полковник из своего укрытия, пригляделся и в серой туманно-дымной пелене разглядел летящего во весь опор всадника. Это по нему стреляли с того берега, норовя подбить. А он – молодчина – изгибался ловким телом, петлял, уворачивался. Ещё мгновение, и в наезднике отчаянном узнал Пётр Сергеевич Доньку. Нёсся во весь опор его каурый гривач. Вот, уже и близко совсем. А стрельба чаще и чаще становилась. Пуля одна ветку перебила прямо рядом с полковником – упала та, листьями шерохнув, на его погон. И не заметил, весь в глаза ушёл. Куда ж ты летишь, парень? Не заговорённый же! В этом частостреле – ну, как твоя пуля окажется?.. А рядом дед Лукьян замер, молитву шептал. Минута прошла? Или того меньше? Взлетел каурка на небольшой пригорок и вдруг… Неестественно выпрямился вдруг Донька в седле. Ладонь поднёс к груди. И оседать стал… И ничем нельзя было помочь!

– Убили… – простонал глухо кудесник.

Да отчего убили сразу? Да, может, ранили только?..

А каурка бег продолжал и, вот, остановился, довезя всадника своего, неподвижного, но, кажется – живого ещё? Бросились, стащили мальчонку на землю, положили на траву – и подстлать не оказалось ничего. Живой ещё был. Только на груди, на мундире, ещё почти новеньком, огромное пятно алое расплывалось. Поблёскивала медалька тускло, и тускло глаза смотрели на бескровном лице. Дед Лукьян опустился на колени, гладил внука по влажным волосом, всхлипывал надрывно.

– Врача! – крикнул Пётр Сергеевич в отчаянии, но сам видел, что врач не поможет.

– Господин полковник… – чуть слышно прошептал Донька, задыхаясь. – Вот, здесь, здесь… – потянул руку к груди. – Донесение… вам… Я ваш приказ… выполнил…

Тягаев наклонился, извлёк запачканную кровью бумагу, пробежал быстро. Безотрадно – не удался манёвр задуманный соседям, теснили их. Пожал Донькину холодеющую руку:

– Спасибо тебе, герой… – и стиснув зубы, добавил: – Приказ… К чёрту бы приказ… Жил бы ты только! А уж мы за тебя сегодня…

Но уже не дышал мальчонка. Лежал недвижимо: рука на окровавленной груди, глаза угасшие в серизну неба уставлены. Перекрестил его дед, зарыдал хрипло, из стороны в сторону раскачиваясь, завыл:

– Донька… Донюшка… Да на кого ж… Да будь они прокляты! Чтоб им в аду гореть вечно! Чтоб… Господи! Господи! За что?! За что не накараешься над нами?! Разил бы раба

своего худого любой смертью страшной! А его – за что?! Доньку – за что?! Почему не защитил, не оберёг его, Гос-по-ди?!

Подбежал, пригибаясь, Панкрат, посмотрел растерянно, сглотнул судорожно, но отрапортовал:

– Пётр Сергеевич, командующий прибыл! Отправился на позиции. Вы бы удержали его – убьют ведь его там!

Тягаев тяжело выпрямился, тряхнул головой:

– Ты пока здесь останься. А я к генералу…

Каппеля полковник нашёл на позициях. Владимир Оскарович шёл вдоль окопов, разговаривая с солдатами. Подниматься им он запрещал, чтобы не рисковали, так и беседовали: он на линии огня стоял, а они в окопах лежали. Ободрял их генерал:

– Держитесь, братцы, скоро подойдёт ещё полк, поддержит нас.

Радовались, оживали. Кажется, и настроение боевое появлялось. Как никто, умел его Каппель внушить. Своего рода поверье было: если Каппель в бой ведёт, то должна победа быть. Так прошёл он всю линию – и ни одна пуля не зацепила.

– Владимир Оскарович! – окликнул Тягаев генерала из своего окопа.

Каппель спрыгнул в укрытие, пригнулся, сказал коротко:

– Вас, Пётр Сергеевич, обманывать не стану: положение наше отчаянное.

– А как же полк, который нам на подмогу идёт?

– От этого полка осталось только название. И горсть людей. Но им, – генерал кивнул в сторону войск, – этого знать не нужно. Пусть верят, что идёт настоящая подмога. Так хоть настроение лучше будет. Как бы то ни было, а свою задачу мы должны выполнить: взять это чёртово село и отбросить «товарищей», насколько хватит пороху, дальше.

Это и хорошо было, что цель не менялась. Сейчас, после Донькиной гибели, велико было желание Тягаева с «товарищами» посчитаться. Подошли ещё несколько старших офицеров. Каппель коротко объяснил всем план действий. Разошлись по своим участкам.

– Ну, с Богом! – воскликнул генерал и, поднявшись, скомандовал наступление.

Грохотнула из-за пригорка укрытая там артиллерийская батарея. Поднялись из окопа засидевшиеся в ожидании боя части. Пошли цепью, как один человек – в штыки. Краем глаза заметил Пётр Сергеевич идущего впереди кудесника. Даже страшное горе не заставило его изменить долгу: высокий, по-военному выпрямленный старик с белыми волосами до плеч, чёрной тесьмой вокруг головы перехваченными, в серой сермяге и с массивным старообрядческим крестом в руках. Но вдруг – словно оступился. На колено одно припал. Это пулей ногу ему перебило. Впервые за всё время борьбы… И кто-то крикнул заливисто:

– Братцы, деда ранили! Вперёд! Покажем красным сволочам, где раки зимуют! Бей комиссаров!

А кто-то довесил матерно.

И, вот, уже через речушку перебрались, смяли первые ряды противника. А он – силён был. «Полк» в подмогу подошёл ли? Бог весть! В этом человеческом месиве не разобрать. А оно и лучше. Пусть думают бойцы, что – подошёл. Что не одни они. А всё же замешкались, выдыхаться стали. Но в этот момент несколько человек верховых показались. А впереди – Каппель. Сам в атаку повёл замявшиеся части.

– Ура генералу Каппелю!

– Вперёд!

– Ура!

И на ура – ввалились в село. И на инерции хорошей увлеклись вперёд, выбили «товарищей», погнали. Хорошо выступили, не осрамились. Доволен был Пётр Сергеевич. Едва решился бой, отправился в лазарет, тут же в одной из изб разбитый, надеясь отыскать старика. Кудесника полковник увидел сразу. Его только-только принесли с поля боя, положили

среди других раненых – пока на землю: не распределили ещё сёстры, кого куда. У Лукьяна Фокича обе ноги перебиты оказались, но не жаловался, лежал спокойно, сжимая крест сильной, жилистой рукой.

– Отец, ты прости меня, – тихо сказал Тягаев.

– За что?

– За Доньку прости. Что не уберёг.

– Не говори, чего не понимаешь, Петра Сергеевич, – вздохнул старик. – Здесь твоей вины нет. И ничьей нет. За жизни наши лишь ангелы наши пред Богом ответственны. А без Его воли и волоса ни с чьей головы не упадёт. Значит, такова Его воля была… – всхлипнул. – А мы её принять не смогли… Вот, и наш ангел лик на время отвернул… – показал на свои искалеченные ноги. – Это за ропот, за проклятья – наказание… Ничего… Вот, зарастут, и пойдём мы опять за Святую Русь, за Христа на смертный бой. С крестом против серпа и молота ихнего. Мы ещё поборемся, барин… Не грусти…

– Прощай, отец. Поправляйся и возвращайся, – сказал полковник, пожимая руку кудесника. – Возвращайся. Ты нам нужен. Кто ж впереди нас теперь пойдёт?

– Ты пойдёшь, Петра Сергеич. Ты пойдёшь. А я за тебя и за всё воинство наше молиться буду. Иди! Христос с тобой! – сказал Лукьян Фокич, перекрестив полковника двуперстно.

Так и простились. Навсегда ли? Ком к горлу подкатывал. Но не было времени горе горевать. Уже искали Тягаева. Генерал собирал старших офицеров на совещание. Поспешил в штаб, наскоро в избе местного священника, расстрелянного большевиками, размещённый. Там уже собрались, и хмурый Каппель делал какие-то пометы, склонясь над разложенной на столе картой.

– Господа, сегодня мы одержали очередную славную победу… – начал Владимир Оскарович. – Она важна уже тем, что показала большевикам, что мы ещё представляем воинскую силу и способны к действию. Однако, общей ситуации нам изменить не удалось. Челябинской операции нам не выиграть. Это ясно уже сейчас. Следовательно, отступление будет продолжено, и остановить его не в нашей власти. Тыл разлагается. Там действуют красные банды, вносящие смуту и подрывающие наши силы изнутри…

Подрывная деятельность в тылу давно уже стала проблемой серьёзнейшей. Подрывали активно эсеры, так и не принявшие власти Колчака. Эти подлецы, судя по всему, решились довести до конца начатое ещё два десятилетия назад дело разрушения России. Действовали банды дезертиров, красные партизаны. К ним примыкал бедняцкий элемент из крестьян. Банды отличались большой жестокостью и наводили ужас на население. Меры для подавления их и спровоцированных большевистскими агитаторами восстаний обычно оказывались неэффективными. Партизанщина наносила огромный вред белому делу, внося смуту среди населения и вынуждая снимать войска с фронта для борьбы с бандитскими вылазками. И какова ж наглость была! Один из наиболее известных партизанских вождей, бывший штабс-капитан Щетинкин, чья банда отличалась особой жестокостью, действовал… царским именем! В прокламации выпущенной этим ушлым деятелем православные люди призывались на борьбу с «разрушителями России» Колчаком и Деникиным, продолжающими дело предателя Керенского, на защиту русского народа и Святой Руси под знамёнами Великого Князя Николая Николаевича, которому якобы подчинились Ленин и Троцкий, назначенные им своими министрами. «За Царя и Советскую власть!» – таков был лозунг щетинкинцев. И народ – верил! Гениально это было – объединить два полюса симпатий тёмной массы. Царя до сих пор чтили в народе. А потому и без самозванцев не обходилось. Какая ж русская смута без самозванцев? В Бийске объявился «цесаревич Алексей». И не только тёмная деревня, но и город поверил. Чествовали высокого гостя!

Этим диверсиям в тылу необходимо было что-то противопоставить. И срочно. И Каппель, немало поразмышляв об этом, нашёлся – что. Владимир Оскарович составил целый

план действий, которые, по его мнению, могли бы спасти положение. Первая часть его отвечала желаниям Дитерихса и Будберга: выставить заграждение на укреплённом рубеже, после чего белым частям где-то задержаться, отдохнуть, пополниться, чтобы стать снова крепкой силой. Но это не всё было. Разъяснял генерал:

– Все боевые части большевиков, как и у нас, брошены на фронт и в тылу остались только слабые, нетвердые формирования. В их тылу также неспокойно, поскольку население там уже успело испытать все ужасы военного коммунизма. Нужно бить врага его же оружием! Если они разлагают наш тыл, то почему нам не развить такую же работу у них? Мой план таков: я с двумя тысячами всадников, пройдя незаметно сквозь линию фронта, уйду в глубокие тылы противника и начну там партизанскую работу. Мы будем совершать короткие вылазки, нанося врагу максимальный урон. Одновременно поможем организации восстаний, почва для которых несомненно готова. Наши действия приведут красных к необходимости для ликвидации нашего отряда снять какие-то части с фронта, что в свою очередь ослабит его и облегчит положение армии. Что скажете, господа офицеры?

Отвечали не сразу, обдумывая услышанное. Но не спорили, понимая, что при всей опасности осуществление этого плана весомые результаты может дать. К тому же Владимир Оскарович – гений партизанской войны. Уж он-то так перцу под хвост краснюкам подсыплет, что фронт им и вовсе разворачивать придётся. И вместо «Все на Колчака!» призывать всех – на Каппеля. Одобрили. Всё ж таки за столом настоящие каппелевцы сидели. Большей частью, из старых Волжан, славные дела прошлого года хорошо помнившие.

– План очень рискован, – признал генерал. – Может быть нам суждено погибнуть… Но я надеюсь, что Ставка поймёт его целесообразность и поддержит.

Ставка? Поймёт? Лебедев?.. Нет, это безнадёжно!

Вечерело. Разошлись офицеры по своим частям. А Владимир Оскарович всё сидел за столом, вносил коррективы в набросанный план, который как можно скорее нужно было отправить в Ставку. Партизанское движение в тылу противника виделось теперь Каппелю единственным спасением. К тому же рассчитывал он, что там, в страдающих под большевистским игом областях, зреет народный гнев. И нужно лишь дать толчок его выходу, надо помочь организоваться. Владимир Оскарович верил в русский народ. Верил свято и нерушимо, как в Бога и Россию. Он, даже о красных не забывал никогда, что и они – русские люди. И потому сдерживал любые мстительные и жестокие проявления подчинённых. Он верил, что под этой нанесью, пеплом, души замётшим, гнездится ещё в каждом русском память о том, что он – русский. Светлое что-то остаётся. И до этого светлого бы – достучаться!

Даже в тех красноармейцев, которых отрядила ему «щедрая» Ставка, оправившись от первого ошелома, поверил Каппель. И, едва прибыв за ними в Екатеринбург, в казармы войдя, потребовал жёстко снять караул, охранявший пленных, выговорив начальнику его:

– К моим солдатам я не разрешал ставить караул никому. Я приказываю вам, поручик, немедленно снять своих часовых с их постов. Здесь сейчас начальник – я, и оскорблять моих солдат я не позволю никому. Поняли?

Это должно было сразу дать людям ощущение, что они не пленные больше, а солдаты, солдаты, призванные служить общему делу со своими командирами. Видел генерал, как на просторном казарменном дворе толпа красноармейцев, услышав его разговор с караульным, замерла, подобралась инстинктивно и уже ожидала его. Прошёл к ним, приложив руку к папахе, крикнул зычно, ударяя слегка на второе слово:

– Здравствуйте, русские солдаты!

Дикий рёв огласил двор: уставного ответа красноармейцы не ведали. И поняли нелепость своего ответа, смутились, улыбались сконфуженно, переминаясь с ноги на ногу. Улыбнулся и Владимир Оскарович им, ободрил с лёгким вздохом:

– Ничего, научитесь! Не в этом главное – важнее Москву взять – об этом и будет сейчас речь. – А затем громыхнул по-уставному: – Встать, смирно!

И недавно бесформенная толпа вытянулась по струнке… Эту толпу предстояло Каппелю везти в Курган и там воспитывать из неё солдат. Русских солдат. Белых солдат…

И повёз. И воспитывал. День с ночью смешались, и удача была, когда успевалось несколько часов для сна перехватить. Что такое красноармеец? Прежде всего, русский человек. Несчастный, потому что обманут, потому что вся душа его русская наизнанку вывернута. Тут врачевать надо. Аккуратно, постепенно, любовно. Не может быть такого, чтобы русский человек не достучался до русского человека. Если не достучались, то сами виноваты. Значит, нерадивость и леность, и недостаток горячности в деле проявили. Неделя шла, другая. И, вот, по временам встречал уже Владимир Оскарович в глазах чужих красноармейцев отклик своим словам, что-то медленно, с большим трудом, как механизм заржавленный, начинало работать в их сердцах. И если бы дано было время, то, если и не все, то многие восприняли бы внушаемые им идеалы, приняли бы в души их. Эти идеалы успели бы укорениться в них. А за три недели отпущенных лишь наметился сдвиг, и при первом случае отступились они. Как тот пьяница, который, протрезвев после вынужденного воздержания, не успевает к трезвой жизни привыкнуть и при первой возможности вновь срывается в пьяное безобразие…

Отчего так отчаянно не хватало времени всегда? Ведь ни мгновения передышки не давал себе Владимир Оскарович – жизнь его последний год пущенного намётом коня напоминала. А времени – не хватало. Хотя чего, вообще, хватало? Людей? Боеприпасов? Продовольствия? Обмундирования? Лошадей? Да всю дорогу существовали попеременно то надосталях, то вовсе на-несталях. Единственное, в чём недостатка не бывало, так это в отваге верных людей. Эти чудо-богатыри и в безнадёжных положениях побеждали. И сколько полегло их уже! И восполнить некем…

Время – Божий бич, погоняющий. На кого его не хватило, так это на самых родных существ: Петрушу и Таничку. В Кургане в одном доме жили с отцом, а он за целый день считанные минуты выкраивал, чтобы поцеловать их. И даже в эти мгновения мыслями уносился уже одновременно в нескольких направлениях, разрываясь среди дел неотложных. Что-то будет с ними, сиротками?.. И с Ольгою – что?..

Как ни гнал тяжкие раздумья о ней, а наваливались. Тоской, горечью, страхом и своей виной за то, что не уберёг.

Они встретились одиннадцать лет назад. Полк, в котором служил тогда в должности адъютанта Владимир Оскарович, стоял недалеко от Перми, куда направлен был для ликвидации крупной банды бывшего унтер-офицера Лбова. Здесь же жило семейство Строльманов. Глава его, действительный статский советник, инженер, был директором пушечного завода. Строльманы были людьми нрава строгого, устоев патриархальных. Офицеров-кавалеристов чтили исключительно за вертопрахов и мотов, а потому даже на порог не пускали, оберегая единственную красавицу-дочь от назойливых ухажёров. Да только судьбы – не обмануть!

Был тёплый августовский вечер, на уездный бал съехались прелестные барышни, сопровождаемые почтенными отцами и матронами, и лихие гусары расквартированного здесь полка. Жизнь полковая на развлечения не щедра была, тем более, что сам Каппель не был любителем карточных игр и иных традиционных способов коротания времени, хотя никогда не сторонился товарищей, частенько засиживал с ними за стаканом вина и дружеским разговором, переходящим нередко в спор. Но во всём поручик помнил меру и никогда не переступал её. Всем же скучным развлечениям предпочитал он книгу, и в полковой библиотеке не было ни одной, которая не была бы им прочитана. У Владимира Оскаровича была твёрдая и ясная цель: поступление в Академию Генштаба и военная карьера. Ни о какой иной он и не помышлял никогда. Военная стезя была традиционной в семье Каппеля.

Отец его, московский дворянин, находясь в отряде генерала Скобелева, участвовал во взятии укрепленной крепости текинцев Геок-Тепе. Эта операция носила крайне важный характер для обеспечения интересов Российской Империи в Средней Азии и овладении Туркестаном. За подвиг при взятии этой твердыни Оскар Павлович был удостоен ордена Святого Георгия. Не менее достойным примером был и дед по матери – герой севастопольской обороны и георгиевский кавалер. Сколько слышано было в детские годы о славных страницах русской военной истории, сквозной линией прошедшей через судьбы предков! Их доблести достоин должен был стать Владимир Оскарович. Он воспитан был в традициях старых: в верности вере Православной и Государю, в преклонении перед родной историей, в любви ко всему русскому. Верность этим традициям среди молодых офицеров в ту пору не столь уж частой была. Дух свободомыслия проник и в военную среду. И по родному полку явственно подмечал это Каппель. Пермское сидение изрядно успело наскучить ему. Мечталось о деле настоящем, а не о ловле скрывающегося по лесам бандита, которого скорее бы изловить да с тем и перебраться на новое место! Но один единственный вечер изменил настроение в корне. На уездный бал гусары приехали весёлой ватагой – хоть какое-то разнообразие среди серых будней! Да и с барышнями, бдительными родителями за семью замками спрятанными, полюбезничать – счастливый случай!

На этом балу и увидел Владимир Оскарович Ольгу. Ещё и осмотреться не успел порядочно, а уж выделил её и больше ни на кого не смотрел. Стройная, с осанкой горделивой, с лицом продолговатым, интеллигентным, она не похожа была на провинциалку, и на пустую кокетку, каких немало было кругом. В её глазах, временами скрываемых крупными веками с длинными ресницами, сквозило нечто мудрое, глубокое. Ольга о чём-то говорила с подругами. Те щебетали наперебой, смеялись, а она отвечала изредка, улыбалась приглушённо. Не ожидая пока кто-нибудь опередит его, Каппель пригласил красавицу на танец. Легки и плавны были движения её, нежны черты тонкого, совсем юного лица. Так во весь вечер никому и не уступил её ни на один танец. А под конец вечера понял, что и во всю жизнь не хочет отпускать.

Но предупредила Ольга, когда кружили среди других пар в вальсе, что родители её – люди строгие, и не позволят ей видеться с гусарским поручиком. Грешно было обманывать стариков, но что поделать? Если даже на порог не пускают, не беря на себя труда хотя бы узнать, что за человек любит их дочь и любим ею, то остаётся идти на обман. И Ольга пошла. Они встречались тайком, встречи эти были кратки, но сколько блаженства в них было! Да в одном только мгновении! В том, чтобы увидеть её! Поймать полный нежности взгляд! Руки её – целовать!.. А ещё были письма. Их передавала горничная Ольги. Ей, расторопной, щедро, правда, платить приходилось, но и больше бы несравненно дал за весточку.

Так вся осень прошла. От письма к письму, от встречи мимолётной до встречи… И какая же удача была, что негодяй Лбов так ловко скрывался – никак не могли изловить его. Банду разгромили, а вожак с небольшой кучкой людей где-то прятался ещё. Одолжил изрядно, а то бы пришлось покидать Пермь, родной ставшую. И как тогда бы с Ольгою связь поддерживать? И как – не видеть её? Даже мельком?

Требовалось решать что-то. Не сегодня, так завтра должны были перевести полк. И не мог дольше длиться эпистолярный роман. Уже хорошо успел узнать Владимир Оскарович избранницу. На редкость схожи были с ней. И характером, и мыслями. И потому прямо написал ей, что желает венчаться с ней, для чего готов, если требуется, тайно увезти её из родительского дома, если только она на то согласна.

Ольга согласна была. А тут и случай представился счастливый: Строльман был вызван в управление завода в Петербург. Родители уехали, оставив дочь на попечение своего хорошего знакомого, старика-инженера, который переселился в дом Строльманов. Всё дальнейшее сильно напоминало пушкинскую «Метель». Зимняя звёздная ночь, летящие по снеж-

ному насту, взметая серебристую пыль сани, маленькая деревянная церковь, где ожидали священник и ближайшие друзья-офицеры… Ольга бледна была, но никаких сомнений не испытывала, и счастливо светились её глаза. Обвенчались тайно и поутру отбыли в Петербург. Там сперва познакомил Владимир Оскарович жену с матерью, которая до слёз рада была им. Сложнее было примириться со стариками Строльманами. Принять дочь и зятя они отказались, но позже всё-таки простили, узнав, что «вертопрах и мот» принят в Академию и проходит там курс. К тому и рождение внучки умилостивило.

Шесть лет безмятежного счастья, отпущенные судьбой, пролетели скоро. А потом началась война. Она, впрочем, Каппелем была радостно встречена. Казалось, что надвигается нечто великое, небывалое – может быть, последняя великая война, для которой ведь и пошёл по военной стезе. Было что-то бодрящее и освежающее в грозовые летние дни Четырнадцатого! Уехал на фронт в душевном подъёме. Правда, тревожился несколько за Ольгу: оставлял её беременной. Она мудрое решение приняла: перебралась на время к родителям. Там уж точно спокойно ей будет, позаботятся.

Можно ли было предположить тогда, что туда, в тихую гавань придёт беда? Не успел Владимир Оскарович в Восемнадцатом добраться до родных, Ольгу после долгой разлуки обнять: задержал долг в Самаре. А пока там с отрядом своим «товарищей» бил, они в его дом пришли. Захватили Ольгу. И детей. И стариков Строльманов. Держал их командующий Пермским фронтом Мрачковский при штабе под неусыпным надзором. Когда отважный Пепеляев совершил свой славный рейд и освободил Пермь, то его офицеры Строльманов и детей вызволили, а Ольгу не успели… Её в качестве заложницы увезли в Москву… Душа обрывалась при мысли, что могло стать с ней.

В дни кровопролитных боёв на Урале пытались воспользоваться красные козырем: если, – передали, – генерал Каппель ослабит свои удары, то жена его может быть освобождена. Словно сердце из груди вынули и на наковальню швырнули. Как-то застонешь? Неужто женой, красавицей, любимой своей, матерью детей своих пожертвуешь? Предашь её на муки и глумление? На позор и смерть?

А дорого ли стоило слово красных? С ними ли переговоры вести? Садись за стол с шулерами! А, может, и в живых уже… Не додумывал до конца страшной мысли. Но переговоров никаких быть не могло. Сам вверялся Владимир Оскарович Божией воле, и Ольгу – вверял. Всегда и она уповала на неё. И как ни разрывалось сердце, а отчеканил твёрдо:

– Расстреляйте жену, ибо она, как и я, считает для себя величайшей наградой на земле от Бога – это умереть за Родину. А вас я как бил, так и буду бить!

Верил Каппель, что Ольга поддержала бы его, как и всегда поддерживала душой понимающей.

С той поры не было никаких известий от неё. Если бы жива… Если бы сотворил Бог такое чудо… Старался не думать об этом. Весь в работу ушёл, даже на сон себе считанные часы оставляя: так и легче было.

Когда осели в Кургане, перевёз детей и стариков туда. Сам со штабом на первом этаже разместился, они – на втором. Таничке уже десятый год шёл, она отца хорошо помнила, а Петруша и не знал. Каппель раз и видел его, когда в отпуск с войны приезжал. А теперь уж четвёртый годок шёл ему. Дети горевали о матери. Особенно, Таничка. А пуще их – старики. И тяжело было Владимиру Оскаровичу взглядом с ними встречаться. Похитил их дочь, женился без благословения и не смог уберечь. Чувствовал себя отныне и навсегда виновным перед ними. И перед детьми – тоже. Ведь если бы не остался в Самаре тогда, а к ним поехал, то, может, иначе бы сложилось? Но не мог не остаться. Он был армии нужен. России нужен. А Россия, долг перед ней выше всего стояли для Владимира Оскаровича. Поступи он иначе тогда, и хуже бы не простил себе. Иначе нельзя было. А всё-таки – виноват… И тяжело было. И оттого ещё, а не только от занятости, так редко на второй этаж поднимался. Там – лишь

с Петрушей повозиться отрада была. Он, несмышлёныш, ещё мало понимал и так искренне радовался отцу…

А теперь, вот, новая беда. Фронт откатывался. От Челябинска до Кургана – совсем близко уже. И среди служебных забот надо было побеспокоиться об эвакуации семьи…

Глубокая ночь стояла. Владимир Оскарович достал лист бумаги, стал набрасывать письмо своим. Когда писал им в последний раз? Не мог вспомнить. Написал коротко тестю, и тут адъютант, как неизбежность, на пороге возник:

– Ваше превосходительство, красные перешли в наступление! Из штаба армии передали приказ об отступлении…

И зачем, спрашивается, такие жертвы сегодня были? Провалилась очередная авантюра Ставки. На что они там надеялись? Играли, как зарвавшиеся игроки, швыряясь чужими жизнями…

Письмо опять комкать приходилось. Наспех приписку сделал – Таничке и Петруше. Поцеловал мысленно. Быстро запечатал и поспешил на позиции. Спать этой сырой, беззвёздной ночью опять не суждено было.

Глава 3. Девятый день

14 августа 1919 года. Москва

Лето выдалось небывалое в этом году, такое, какого и не припомнить, чтобы было подобное. Лил и лил, не прекращаясь, дождь, редкие и краткие даря передышки. Откуда воды столько взялось – непонятно. А сегодня прекратился. Зато поутру всего лишь пять градусов тепла было. Октябрь! Как есть октябрь! И в церковь пошла Ольга Романовна в тёплом пальто и сапогах: кого теперь удивишь таким экстравагантным видом? Даже перчаток с дырочками на кончиках пальцев от долгой носки уже стесняться не приходилось. К заутрене отправилась одна. Хотела Надя Олицкая пойти тоже, но занедужила ногами. Да и не хотелось Ольге Романовне, чтобы кто-то рядом был в это утро… В церкви укрылась в тёмном углу, опустилась на колени, не пожалев старых ног и не убоявшись, что трудно потом будет встать. Не так часто бывала на службах прежде. Лишь по заведённому: в воскресенье. А в будние недосуг как будто было. А сейчас день будний стоял. Народу в церкви совсем мало было. И даже удивительно. В годину чёрную народу православному где и быть, как не в церкви? Как не очнуться от прежнего маловерия и не броситься спасаться в храмы? А не вот бросались… Большей частью, старики и старухи к заутрене пришли. Но и не только. Вон – в шинели без погон, однорукий – по стати не спутаешь: офицер бывший. Вон – бывшая барышня в платьице тёмном, в разбитых башмачках венгерских поддерживает под руку слепого старика. Лицо у неё измождённое, запредельно усталое, а в глазах печальных слёзы стоят. Неподалёку монашка. Очень русское лицо, глаза васильковые долу опущены, а иногда поднимаются со взмётом длинных ресниц – икона! За колонной какая-то женщина, с колен не подымающаяся, поклоны бьёт. Смуглая, темноокая. И в глазах – пламя. Будто безумие лёгкое. Две старушки у стены на лавочке примостились. А вблизи другая, помоложе, побойчее – с внуком белокурым, которого своим, видать, платком укутала. И ещё господин средних лет, из чиновников, вероятно, бывших – одиноко стоял и крестился не в такт, кажется, своим мыслям отдался, службы и не слышал. И знакомую фигуру поодаль заметила Ольга Романовна. Пожилой, исхудалый человек, с лицом аскетическим, высветленным – словно уже не лицо это было, а лик. Васнецов собственной персоной. Не близко знались, а бывал Василий Михайлович не раз у покойного мужа Ольги Романовны, и на выставках встречались. Господи, как же давно было!..

Чудна была церковь в этот час. В ней словно уцелевшая Россия собралась. Мало уцелевших оказалось, но ни одного случайного. Наверное, так и быть должно? Предсказано же, что в последние времена верных лишь горсть останется… Уцелевшая Россия… Или бывшие люди бывшей России?

Густо басил полный протодьякон. Не Розов то был, конечно (с Розовым никто не сравнится!), но хорош. И старенький батюшка подстать. Древний совсем, и заметно было, что тяжело и стоять ему, и говорить, но вёл службу, и напрягая голос, громко и твёрдо каждую фразу произносил, и можно было догадываться, с какой силой звучал этот голос прежде.

Шла своим чередом служба в полутёмной церкви, тускло освещённой пучками тоненьких свеч (уполномоченный из бывших священников, рясу сбросивший, теперь заявлял, что нужно не давать церкви свечей, поскольку их сознательному пролетариату не хватает), и сумрачно было на сердце у Ольги Романовны. Боли утраты не было, но пригнетала непереносимым грузом неискупимая вина…

Всё началось месяц назад. В тот июльский вечер она возникла на пороге обличающей тенью. Неузнаваемая. Больная. Страшная. Лицо её посеревшее, высохшее, покрытое испариной дышало всегдашним гневом, рыжие волосы, тронутые ранней сединой, свалялись и выглядели очень неухоженными, зеленоватые глаза блестели фосфорическим блеском. Она в лихорадке была. Ото рта не отнимала окровавленный платок. Переступив порог, придерживаясь о стену, прохрипела натужно, давя кашель:

– Что, не ждала? – усмехнулась. – И не рада? – посмотрела недобро. – Да ты не беспокойся. Долго не загощусь! Я, как всегда – проездом! Только, вот, на этот раз не знаю, куда…

Ольга Романовна смотрела на дочь с немым ужасом. Неужели она это?.. Её Лидинька?.. Красавица и насмешница?.. Ничего не осталось от неё. Только тень. И злая эта тень пришла теперь в родной дом. Пришла, – догадалась, сердцем дрогнув, – умирать…

Лидинька огляделась, заметила желчно:

– А ещё, смотрю, не всё вы распродали! Скажи-ка! Недурно живёте, недурно… А этот где? Муж твой?

– Пётр Андреевич уехал.

– Жив, стало быть… Гасильник… Ищейка полицейская… – погрозила кулаком в пустоту. – Что ж, чёрт с ним. Хорошо, что здесь его нет. Для него – хорошо… А то бы… – не смогла договорить, закашлялась надрывно, согнулась – словно нутро выворачивало.

А в этот момент Надя с Илюшей пришли. Они на Сухаревку ходили торговать. И, вот, вернулись – не с пустыми руками. На деньги, вырученные от продажи домашнего скарба, какой-то снеди купили. Остановились на пороге, с удивлением глядя на нежданную гостью. Никогда не видели её прежде и узнать не могли. Лидинька чуть разогнулась, посмотрела слезящимися глазами на Илюшу, потом на мать. Что-то сообразила Надя, всегда большой чуткостью отличавшаяся, взяла мальчика за руку, потянула за собой на кухню:

– Идём, радость моя, поможешь мне управиться…

Лидинька так и не сказала ничего, захрипела только. И тут только до Ольги Романовны дошло, что дочери худо так, что она уже сама и шагу не в силах ступить. Подошла к ней, подставила плечо, повела в комнату, которую прежде Пётр занимал. Лидинька не противилась – едва в сознании была. Уложила её Ольга Романовна в постель, укрыла тёплым одеялом, смотрела сквозь слёзы. Несчастную била лихорадка, глаза её, потонувшие в чёрных обочьях, блуждали.

– Врач тебе нужен, – сказала Ольга Романовна.

– Не надо… – прошелестела дочь в ответ. – Уйди… Уйди, оставь меня… Уйди!

Ольга Романовна покорно вышла, плотно притворив дверь, прошла на кухню. Илюши, по счастью, там не оказалось, и он не видел сметённого лица бабки. Только Надя увидела. Она, всё ещё дородная, несмотря на голодную жизнь, сновала у плиты, готовя что-то к ужину. Говорила сердито, ни к кому не обращаясь:

– До чего дожили, батюшки святы! До войны сахар пятнадцать копеек стоил, а теперь двести двадцать рублей! За хлеб уже пятьдесят просят! А мука? Мука по семь копеек была… Пятнадцать рублей за спички! Спичек нет, керосина нет… Слава Богу, лето! А зима придёт, пропадать опять? Опять свет на несколько часов подавать будут – и как хочешь… Что ж это делается-то такое…

Это Надеждино ворчанье теперь каждый день слышалось. И чудно было: купеческая дочь, княжеская жена, в богатстве и неге всю жизнь пожившая – а говорила, словно кухарка в стародавние времена. И цены знала, и даже довоенные. Их сама не вспомнила бы, а, знать, делились с нею помнившие, с которыми бок о бок на Сухаревке распродавала остатки имущества. Там и не догадывался никто, что Надежда Арсеньевна, с её простой внешностью и бесхитростным разговором – княгиня. Она и сама себя таковой никогда не ощущала, а навсегда осталась купеческой дочерью и даже провинциалкой. И потому легко ей оказалось

находить общий язык с сухаревскими торговцами и торговками, среди которых, впрочем, тоже встречались титулованные особы.

– Яиц купить блазнило. Да куда там! Полторы «косых», как они теперь выражаются. Пойми, что это сторублёвые… «Косые»! Почему «косые»? Непонятно…

Ольга Романовна вошла в кухню, опустилась на стул. Надя тотчас оставила стряпню и всей плотной фигурой подалась к ней:

– Олинька, что? Кто эта женщина?

– Это Лида…

– Кто? – не поняла даже.

– Это моя дочь… – чуть слышно произнесла Ольга Романовна. – Она вернулась…

Ахнула Надя, о передник пухлыми руками прихлопнула. Историю Лидиньки, разумеется, знала она. Искала, что сказать, чем подругу утешить. Обняла за худые плечи:

– Олинька, так и что? И не горюй! Вернулась – и слава Богу! Только очень уж больная… Надо, чтобы доктор посмотрел. А он, наверное, раньше утра не придёт. У него дежурство…

– Доктор не поможет, Надин, – по старой привычке Ольга Романовна называла подругу на французский манер. – Это чахотка. Последняя стадия… – помолчав, сменила тему: – Опять вы с Илюшей на Сухаревку одни ходили? Ведь я просила не ходить. Кругом же воров несчётное число. Как ни усердствует Тимоша, а полная Москва их. Сам же и говорил. А ты опять?

– Олинька, душечка моя, а что же ты мне прикажешь? – Надя виновато улыбнулась. – Денежку выручать надо? Надо. Продавать вещи надо? Надо. Поесть купить надо? Надо.

– Надо, чтобы кто-то из мужчин был рядом.

– Да кого ж просить? – Надя потупилась. – Володя слишком раздражается от подобных дел. Я не хочу, чтобы он со мной ходил. Ему вредно это… Всё-таки он не привык… Он князь, музыкант… Довольно того, что ему приходится служить в какой-то их конторе. Доктор и Тимоша сутками на службе – им не до того. Кого ж просить? Юрия Сергеевича? – рассмеялась. – Его самого защищать надо! Ты не волнуйся, Олинька. Мы с Илюшей очень осторожны. Ничего с нами не случится. Ну, а если вдруг… Ведь говорил же Тимоша: «Если вас ещё не ограбили, это не ваша заслуга. Просто грабителям на всех не разорваться». Чему быть, того не миновать!

Хлопнула входная дверь, и тотчас квартиру огласил высокий баритон Олицкого:

– Чёрт знает что! – и входя в кухню. – Это переходит всякие границы, наконец! Мало того, что за малейшее опоздание на службу эти обезьяны грозят карцером, так ещё и извольте по окончании трудового дня слушать лекцию какого-нибудь идиота о положении дел в Совдепии! Тьфу! А положение-то, положение! Керосина нет! Муки нет! Молока и мяса нет! Мыла нет! Спичек – на пятую часть населения хватит, – чиркнул спичкой, закурил вне себя от раздражения. – Соли нет! Картофеля нет! Ничего нет! Страна-голодранец! Умница Гольдштейн в «Новом слове» написал: «Во что превратилась наша жизнь? В каторгу. Каторга – в господствующее сословие. Война – в мир. Мир – в войну. Законы – в декреты. Суды – в самосуды. А от Великой России остались приятные воспоминания!» Ей-Богу, всего лучше для нас было бы, если б господа союзники взяли наш бедлам, бывший когда-то Россией, под опеку… Хоть порядок бы был! Но и они не торопятся. И хочется, и страшно такой грандиозный хаос под опеку брать – как бы самих не поглотил. Вильгельма-то и поглотил! Дорого пришлось кайзеру платить за поддержку наших мерзавцев! Теперь они и у него заправляют. И поделом!

– Володинька, успокойся и говори, пожалуйста, чуточку тише, – попросила Надя. – У нас тут кое-что произошло…

– Что ещё? – спросил князь, делая внушительное ударение на последнем слоге.

– Лида вернулась, – ответила Ольга Романовна. – Моя дочь здесь.

– Кто-о?! Что-о?! – Олицкий вскочил со стула, на который было сел, словно ошпаренный, смотрел выкатившимися от изумления глазами. – И вы пустили её на порог? – спохватился: – Ах да, вы же не могли не пустить… Она же у вас – член РСДРП! Тьфу!

– Владимир Владимирович, я не могла её не пустить потому, что она – моя дочь, и это – её дом, – строго ответила Ольга Романовна.

Олицкий посмотрел на неё с явным недоумением, передёрнул плечами:

– Что ж, может, к лучшему… Сегодня обезьяны из домкома опять намекали, что нас здесь мало живёт, и пора нас уплотнять. Хотя дочь ваша, Ольга Романовна, уж простите, почище домкома оказаться может. Да, скверно, скверно. Принесла нелёгкая…

– Володя! – Надя укоризненно покачала головой.

Князь махнул рукой, провёл ладонью по гладкому, как биллиардный шар черепу:

– Что ни день, то новости! У меня для вас тоже есть одна. Сегодня я был последний раз в этой богомерзкой конторе.

– Почему? – сплеснула руками Надя.

– Потому, ма шер, что я не желаю больше подчиняться хамам, не желаю писать их гнусные бумажки в их гнусной орфографии! Меня коробит их варварская грамматика! Я без ятей, если угодно, писать не могу! Есть ли хоть что-то, над чем бы не поругались эти подлецы первого разряда? Языка и то не пожалели! Теперь у нас «её» вместо «ея», «они» вместо «оне»… Подумали бы хотя бы, как будут читаться великие наши поэты после этого? «Исторглись из груди её – И новый мир увидел я»? «Пускай в душевной глубине – и всходят и зайдут они?» Бред! Бред! Бред! И сколько сразу возникло слов, одинаковых по написанию! Один чёрт и разумеет, о чём речь идёт! Некогда – теперь и «давным-давно» и «недосуг». Существительное от глаголов вести и ведать – одинаковое! И как разобрать, о чём речь? Путаница совершенная! А «лечу»? Это об лечении или о полёте понимать? Да что говорить! Одно слово: тьфу! Почему бы тогда уже просто не отменить всяких норм и правил языка? Пусть себе валяет каждый в меру собственной малограмотности! Принять декрет об отмене всякой орфографии вкупе с пунктуацией!

– Успокойся, Володинька. Скажи лучше, что же теперь ты будешь делать? Ведь у нас и продать ничего не осталось… Ты мог бы играть где-нибудь…

– Ни за что! – вспыхнул Олицкий. – Я не собираюсь тешить своим искусством торжествующего хама! Между прочим, большинство наших знакомых уже уехали за границу, как благоразумные люди…

– Милый князь, уж не собираетесь ли и вы бежать? – послышался тихий, влажный голос Миловидова.

Никто и не услышал, как он вошёл. За год, миновавший с его болезни, профессор ещё сильнее исхудал и казался почти бесплотным – подует ветер и унесёт. Родной его пиджак, поношенный, но ещё приличный, стал ему изрядно велик, и это странно было: ведь и всегда худ был Юрий Сергеевич. И окончательно побелели волосы. Они походили теперь на шапку одуванчика. Всегда словно несколько дыбом стоявшие, мягкие, как пух – дунет ветер и сорвёт. А в глазах Миловидова, постоянно слезящихся последнее время, будто был он глубоким стариком, угнездилась безысходная печаль. По временам голова его и руки нервически дрожали. А всё-таки продолжал он, неуёмная душа, трудиться, как пчела. Зачисленный в штат наркомпроса, пытался с другими энтузиастами спасти от уничтожения, сберечь исторические и художественные реликвии, читал публичные лекции в самых разных собраниях.

– А почему бы и нет? – Олицкий бросил в пепельницу докуренную сигарету. – В конце концов, я должен работать. А здесь я работать не могу! Морально не могу, понимаете?! За два года я не создал ни одной музыкально композиции. Мне начинает казаться, что я ни к чему больше не способен…

– Что же, в Европе вас, должно быть, примут с распростёртыми объятиями… У вас будет ангажемент, гастроль, тёплый дом с садом… – Миловидов оперся о подоконник, глядя в сумрак клонящегося к концу дождливого дня.

– Вы бы тоже не остались там без дела, – заметил князь. – С вашими трудами! Вашими знаниями!

Такая мысль профессору показалась невероятной. Он удивлённо взглянул на Олицкого, слабо улыбнулся:

– Нет-нет… Этого не будет…

– Да почему?!

– Я никогда не смогу там жить. Я там умру. Вот и всё.

– Кто говорит – жить? Временно погостить и только. Переждать непогоду.

– Князь, нет ничего более постоянного, чем временное.

– Не думаете же вы, что большевики будут вечно? Вот это уж, действительно, невозможно! Большие бури проходят быстро.

– Она уже быстро не прошла, вы не находите?

– Пройдёт, милый профессор, непременно пройдёт!

– Дай Бог… Но я не хочу думать о завтрашнем.

– Напрасно! Вбили себе в голову глупую мысль… С чего вы там умрёте? А здесь? Вы, учёный с мировым именем, таете от голода и лишений, вынуждены ходить на поклон к хамам, захватившим власть. Сколько раз вы лишались чувств во время ваших лекций, которые из всех присутствующих слушали от силы два-три человека, а остальные зевали, причём неприкрыто?!

– Если даже два-три человека слушали меня, услышали, и я смог достучаться до них, то мои усилия не были напрасны, и я опять буду читать – даже для двух человек.

– Вы падали в обморок от истощения, и никто не потрудился даже подать вам воды! Юрий Сергеевич, вы же убиваете себя! Вы на глазах угасаете!

Миловидов достал платок, утёр глаза, вздохнул:

– Дорогой князь, я благодарен вам за заботу, но вы не понимаете… Оставаясь здесь, я могу спасти хоть что-то… Хоть толику реликвий спасти из пламени и сохранить их для будущих поколений. Это сродни всей прежней моей работе, а, может быть, и важнее её. Может, это и есть – главное дело моей жизни. Здесь я угасну, но хоть с какой-то пользой, а там умру безо всякой. Нет, Владимир Владимирович, я никуда не поеду, я хочу умереть в России. А вы поезжайте, пожалуй. Вам там, действительно, лучше будет. И вы сможете больше пользы там принести, потому что там сможете творить.

– Нет, мы тоже не поедем, – вдруг твёрдо сказала Надя. Никогда она так твёрдо не высказывалась, оставаясь всю жизнь лишь тенью своего мужа. А тут прорезалось: – Как же мы можем ехать? Как мы оставим Олиньку? Мы обещали Петру Андреевичу заботиться о ней. И к тому же зло не может продолжаться вечно! Всё это скоро закончится, и мы должны быть стойкими и дождаться этого. Володя, ведь правда?

– Да-да, конечно… – пробормотал князь и побрёл в свою комнату. Надя последовала за ним.

Юрий Сергеевич в отличие от Олицкого новость о возвращении Лидиньки воспринял спокойно. Он хорошо помнил её ещё девочкой и искренне жалел своим сострадательным, чувствительным сердцем.

– Я очень рад, Ольга Романовна, что ваша дочь жива. Наверное, она сейчас будет нуждаться в уходе. Понадобятся лекарства. Доктор осмотрит ей, скажет, что делать. Хорошо, что наш доктор из сочувствующих… Он не вызовет её гнева. И она не будет ему казаться врагом, как, например, князю. Вы пойдите к ней сейчас сами. Пойдите.

Ольга Романовна благодарно посмотрела на Миловидова. Конечно, нужно было к Лидиньке идти. А она – словно нарочно оттягивала, страшась дочери. Теперь заварила чаю, подумав, достала прибранную ещё с прошлого года баночку клубничного варенья. Прошлым летом большой урожай клубники выдался, а потому цены, хоть и дороги тоже, но сравнительно божескими оказались. Закупили побольше, и Надя варенье сварила, вспомнив, как это ещё мать её делала. Правда, потом месяца три сахара не видели, но зато в течение года бывало на столе лакомство. Последняя эта баночка береглась. И, вот, решила Ольга Романовна открыть её, вспомнив, что дочь в детстве это варенье обожала. Положила в розетку и с чаем понесла Лидиньке.

Лидинька так и лежала, как оставила её. И бесконечно жалко её стало. Какой цветущей могла бы она быть сейчас! Какой могла бы быть её жизни! И вот… Поставила чай, всхлипнула – не удержалась. И тотчас хриплый голос бросил:

– Не смей реветь! Как будто бы и впрямь тебе меня жалко …

– А как же иначе? Ведь ты же моя дочь…

– Вспомнила! – в голосе Лидиньки послышались истерические ноты. – Давно?! Мама, мама… Как же я тебя ненавижу! – она села, обхватила руками голову. – Если бы ты только знала, как!

Ольга Романовна стояла на месте, как пригвождённая, не смея приблизиться, обнять, сказать что-то.

– А ведь когда-то так любила… Мама, ты знаешь, как я тебя любила? В детстве ты была моим кумиром, идеалом. А ты всё время уезжала то в театр, то на выставку, то в гости. А я сидела и тосковала. Я никогда не засыпала, не дождавшись тебя, – Лидинька рассмеялась, закашлялась. – Дура! Я ведь ни одного наказания не боялась, а только твоего укоризненного, а, ещё хуже, огорчённого взгляда! А ты всегда мне давала понять, что я не такая, какой должна быть. И держаться не умею, и разговариваю не так, и учусь плохо… И я боялась сделать что-то не так и от страха обязательно делала! Мне так хотелось, чтобы ты мной гордилась… Для меня лицо твоё кошмаром стало! Самым страшным сном! Твоё укоряющее лицо! Выразительно укоряющее, как ты умела! И до сих пор!.. А потом я поняла, что это не я такая плохая, а просто ты не любишь меня…

– Неправда! Я всегда тебя любила!

– Никогда! Ты только Петиньку любила. Только он для тебя свет в окошке был! А я… Кстати, что он теперь? Жив?

– Надеюсь. По слухам он сейчас в Сибири.

– У Колчака, значит… Хорош братец… Одному кровопийце служил, теперь другому… Вечный раб! Пёс! Но чёрт с ним… Я ему зла никогда не желала, хоть он и ненавидит меня.

– Что ты говоришь, Лида? Петя всегда тебя любил, всегда переживал…

– Да не за меня он переживал! За честь семьи, будь она проклята! За свою офицерскую честь! А на меня вам всем всегда наплевать было! Даже отцу! Потому что для него только его поэты и художники существовали… А ты знаешь, как это тяжело, когда тебя не любят?! Это хуже сиротства! Зачем нужна семья, если ты в ней чужая?.. Вот я и ушла… В другую семью! К чёрту… – эта речь утомила Лидиньку. Задыхаясь, она откинулась на подушки.

– Лида, выпей чаю, пока он горячий.

Лидинька взглянула на варенье, затем подняла глаза на мать, долго смотрела на неё, затем выпила чай с вареньем и, снова улёгшись, сказала уже спокойнее:

– Надо же… Ты не забыла моих вкусов…

– Я ничего не забыла.

– Приятно слышать, но больше не приноси мне его. Оставь сыну… Ты, небось, ничего и не рассказывала ему обо мне? Даже фотографий не показывала?

– Почему ты решила?

– Он меня даже не узнал…

Ольга Романовна молча принесла дочери старую фотографию, где она была запечатлена прелестной шестнадцатилетней девушкой, и небольшое зеркало:

– А ты – узнала бы себя?

Лидинька сглотнула слёзы, закусила губу:

– Что ж поделаешь, мама, тюрьма и Сибирь никого не красит. Эта проклятая чахотка оттуда. Это ваш царь, ваша охранка со мной сделали! Смотри! Смотри, какая я стала!

– Разве царь и охранка заставили тебя избрать такой путь?

Лидинька нахмурилась:

– А я, мама, не могла смотреть на то, как угнетается народ! Я не могла, как некоторые, удовлетворяться роскошью, когда бедствовали другие! Я боролась за справедливость! Мы боролись! И мы победили! Помнишь, я говорила тебе, что однажды мы победим? Вот, мы победили! Видишь?! – в голосе дочери звучало торжество.

– Я вижу, Лида. Вижу – анатомические театры, а в них тела убитых в затылок без суда и следствия. Вижу переполненные тюрьмы, которые вы собирались сравнять с землёй. Вижу невиданную нищету и разруху. Вижу грязь, из-за которой даже по центральным улицам стало небезопасно ходить. На днях мы с Илюшей по брошенному кем-то в лужу картону на цыпочках обходили лежавший посреди дороги труп лошади. Голодные люди отрезали от него куски и уносили! И кто-то бросил: «Жалкие остатки России». Это и есть обещанный вами рай?

– Зато теперь вы, жившие в роскоши, поняли, что такое нищета, что такое не иметь крохи во рту… Теперь все стали равны! Теперь нет ни богатых, ни бедных! И это справедливо!

– Лида, смерть – вот, единственное, что равняет людей. Вы смерть сделали средой обитанья. Вы строили рай? В раю люди – небожители. Люди уравненные, лишённые званий, имён, записанные под номерами – это не небожители, а арестанты земли. Вы обещали свободу и братство, а построили острог в размере всей России, где все друг друга ненавидят, и Каин торжествует. Вы ничего и никого не любите, а без любви можно построить только ад!

– Замолчи! – вскрикнула Лида, подаваясь вперёд и меняясь в лице. – Не тебе! Не вам судить о любви! Равенство – это первый шаг! Потом будет и братство! Оно бы уже было, если бы такие, как твой сын, не мешали нам! А потом и свобода настанет…

– Тогда и не вам говорить о кровопийцах. Царь двадцать лет правил Россией, а вы за два года пролили крови в разы больше, чем было пролито при нём.

– Замолчи, мама! Ещё одно слово и я сама напишу в ЧК о том, что ты говоришь! – Лидиньку трясла лихорадка, из угла пересохшего рта струилась тоненькая струйка крови. Ольга Романовна не испугалась угрозы, но пожалела дочь и не стала продолжать бессмысленный спор.

– Что ты говорила обо мне моему сыну? Он знает, что я жива?

– Да. Я говорила ему, что его мать и отец – хорошие и честные люди, что они любят его. Что их честностью и верой воспользовались люди дурные, и в результате им пришлось уехать, но они непременно вернуться…

– Вот как подала! – губы Лидиньки запрыгали. – Обманули их, де, дурачков! А что если я ему всю правду расскажу?!

– Какую же правду? Расскажешь, что он явился плодом случайности, а не любви? Что он был тебе не нужен? Что ты подкинула его мне, чтобы он тебе не мешал?

– Неправда! – на глазах Лидиньки заблестели слёзы. – Ты ничего не знаешь! Ничего не понимаешь! Ничего! Ты злая! Ты всегда была злой!

– Прости меня, Лида… – Ольга Романовна опустила голову. – Я думаю, что лучше бы всё осталось, как есть. Илюша верит, что его родители хорошие люди, которые любят его. И он любит их. Не разрушай его мира, я прошу тебя.

– Хорошо… – неожиданно легко согласилась дочь. – Я не стану разоблачать твоей лжи. Просто потому, что не хочу, чтобы мой сын запомнил меня такой, какая я теперь, больной и страшной. Пусть лучше запомнит ту, что на фотографии… – она вдруг заплакала, закрыв лицо руками. Рыдания смешивались с кашлем, и Лидинька задыхалась. Ольга Романовна села рядом, обхватила её за плечи, стала гладить по голове, целовать в пылающий лоб, но дочь оттолкнула её:

– Не трогай меня! Не нужно этих лживых нежностей! Уходи! Уходи! И, – кивнула, зло посмотрев, на висевший в углу образ, – забери это с собой! В каждой комнате понавешали… Боженьку! Ненавижу я вашего боженьку! Ненавижу! Убери, или я разобью эту доску к чёрту! И уйди сама от меня!

Три нескончаемых недели длились Лидинькины муки. Она вся горела, временами приходила в себя и в эти моменты в ней просыпалась угасшая любовь к матери, к сыну, к людям, но чаще бывали припадки ненависти, и несчастная проклинала весь свет и всех людей, иногда она выходила из комнаты, ища на ком бы выместить свою ненависть, а подчас впадала в полное безумие, и ей мерещились в углах комнаты какие-то странные существа. И так страшны были крики её, и её глаза… Не выдержала бы Ольга Романовна этой пытки, если бы не доктор, ухаживавший за больной всё то время, когда не был на службе. От других мало было проку. Юрий Сергеевич и Надя могли лишь сочувствовать, Володя же и вовсе приходил в ярость от происходящего в доме, и Наде приходилось все силы тратить на то, чтобы успокоить и урезонить его. А Миловидов подходил в тяжёлые часы, брал за руку, смотрел своими влажными глазами:

– Терпите, Ольга Романовна. Значит, так надо. Терпите.

И терпела, терпела… А в тот день не выдержала. У Лидиньки сильнейший припадок случился. На счастье, оказался дома доктор, справился с ней, уложил. Горлом у неё кровь пошла. Мать выгнала с проклятьями. Вся атмосфера в доме накалилась до предела, у всех нервы и без того расшатанные натянулись. Сидела Ольга Романовна за письменным столом покойного мужа, и мелькнула в голове страшная мысль: «Уж лучше бы умерла она…» А через пять минут на пороге явился доктор и лаконично, как всегда, объявил:

– Всё.

И ёкнуло: неужто мыслью собственную дочь?.. Господи, Господи, как же мы осатанели все! Господи, да что же это такое? Господи, прости, прости грех страшный! Прости! И её, страдалицу, прости и упокой!

И теперь, на девятый день, так же холодело сердце, и та же покаянная молитва рвалась.

Служба подошла к концу, и Ольга Романовна поняла, что подняться без посторонней помощи не сможет. Заметалась глазами: найдётся кто-нибудь руку подать?

Нашёлся:

– Вы позволите, Ольга Романовна?

Вот так встреча!

– Серёжа, вы?!

Это, в самом деле, был актёр прежде покровительствуемого покойным её супругом театра Сергей Кудрявцев. Настоящая фамилия его была – Дагомыжский. Молодой человек из знатного рода, сын известного генерала, героя Плевны, он однажды «заболел» театром, и ничто не смогло удержать его от избранной стези. Вначале Серёжа выступал на подмостках тайно, играя характерных персонажей в гриме. Но однажды всё открылось. Отец-генерал был страшно разгневан и даже отказал было опозорившему его имя «паяцу» от дома, но позже смилостивился и простил. Да и времена менялись! Театр становился важной частью

русской жизни, а актёры выходили из паяцев во властители дум и душ. А уж после того, как актёром Художественного театра стал аристократ, офицер, бывший адъютант московского губернатора Великого князя Сергея Александровича Стахович, и вовсе всем прочим можно было без всякого смущения заниматься актёрским ремеслом.

Кудрявцев свою карьеру начал четверть века назад. С тех пор переиграно им было немало самых разных ролей: от злодеев до шутов. Для героев не был он довольно красив. Но посчастливилось сыграть Сирано, и роль эта стала коронной его. После неё едва ли не каждая газета посвятила ему хвалебную статью. Ольга Романовна знала Серёжу с первых его шагов в театре, видела все его работы и любила за талант и лёгкость характера. А, вот, поди же: с Семнадцатого, почитай, не виделись!

– Примите мои соболезнования, Ольга Романовна.

– Откуда вы..?

– Да я ведь сперва домой к вам заходил. Видел Надежду Арсеньевну, она и рассказала, а я – сюда.

Вышли из церкви. Плохо слушались затёкшие от долгого и непривычного стояния ноги Ольгу Романовну, и тяжело опиралась она на услужливую Сережину руку. Он – при свете дня разглядела – постарел за это время. Но старение, пожалуй, даже украсило его. Добавило не слишком красивому лицу благородства и утончённости.

Нет, не было сил идти. В церковном садике присела Ольга Романовна на скамейку. Солнце пробивалось сквозь плен облаков, и те, серовато-белые, каймились нежным золотом по краям.

– Как вы живёте, Серёжа? Как ваши? Катя? Здоровы ли?

– Катя здорова, слава Богу, спасибо, – Кудрявцев помедлил. – И девочки. Старшенькая, Аглаша, уже играет!

– Она всегда была одарённой девочкой.

– Да… Её дебют был весной. Очень хорошо прошёл.

– Я от души рада!

– Младшая пока учится… Не знаю, надолго ли. Теперь многие бросают учёбу и идут работать, чтобы прокормиться… А мы едва концы с концами сводим. Сын-то наш теперь в красной армии, – Кудрявцев вздохнул. – С Великой вернулся, помыкался здесь, и по призыву – в красную. Знаете, Ольга Романовна, я теперь сводки с фронтов в газетах читаю с двойным чувством. Читаю: армия Колчака разгромила красных. Сердце падает: а с Павликом моим что? А если убит? А если плен? Читаю: красные теснят колчаковцев. И опять обмираю: значит, никто не придёт нам на выручку? И останутся большевики? Живу как в кунсткамере, как чеховский герой говаривал… И огорчительно мне, что Павлик к красным на службу пошёл, а с другой стороны… Мне рассказали недавно: красные мобилизацию проводили, и один молодой офицер, чтобы избежать бесчестья, застрелился. Чтобы в красной армии не служить, значит. Так ведь ещё страшнее…

– Не переживайте, Серёжа. Ваш Павлик ни в чём не виноват. Просто время такое. Будем молиться, чтобы он вернулся цел и невредим.

– А Егорушку мы схоронили, – вдруг сказал Кудрявцев глухо, опустив глаза. Егорушка был его младшим сыном, родившимся за год до революции. И отец, и мать не чаяли души в этом позднем ребёнке, нежданно подаренном.

– Боже мой… Какое горе! Очень соболезную вам и Кате. Я понимаю, какой это удар для вас обоих.

– Да-да… Катя мужественно перенесла. И девочки очень поддержали. Да… Это всего-навсего пневмония была. Но в наше время и пустая простуда может оказаться смертельной. Если бы вы знали, Ольга Романовна, во что стало лечение! Мы продали буквально всё, что у нас было. Разорились вчистую. Но оказалось, что хоронить – ещё дороже! Одни справки

пришлось собирать шесть дней. А потом гроб… Маленький, из некрашеных досок. Двести двадцать рублей! Ольга Романовна, вообразите! А на кладбище сказали, что требуется ещё дать могильщику на чай. Знаете, какие теперь чаевые просят эти товарищи? Тысячу! Тыся-чу! Катя дала двести… Всё, что у нас было. И этот пьяный представитель класса-гегемона обрушился на неё с матерной бранью! И даже защититься невозможно! Потому что они теперь – гегемоны! А мы все – на подозрении! – Кудрявцев помолчал. – Вот, Ольга Романовна, какая жизнь настала… Жить – не по средствам. Лечиться – тем более. И даже сдохнуть, простите, не по карману оказывается! Я теперь всерьёз думаю завещать мой бренный прах студентам-медикам для упражнений, чтобы мои родные не разорились окончательно… Вам, должно быть, погребение Лидиньки тоже влетело в копеечку?

Совестно было признаться, поэтому сказала, потупившись, не глядя в глаза:

– Её они сами похоронили. Как заслуженного члена партии… Я не хотела, хотела сама. А доктор убедил, что деньги лучше поберечь для Илюши. Доктор наш вхож в нынешние сферы. Лечит их. Вот и договорился обо всём. Только, вот, я на те похороны и пойти не смогла… Там всё партийные её коллеги собрались, речи говорили. Я бы там не смогла… Вместо этого пошли с Надеждой Арсеньевной в церковь, отслужили панихиду…

– Умный человек ваш доктор, – заметил Кудрявцев. – Мудрый человек. Да… Ах, Ольга Романовна, я, вот, думаю частенько: отчего я не Шаляпин? Только представьте, ему только за участие в благотворительном «Севильском цирюльнике» сорок тысяч заплачено! А с другого спектакля гонорар его составил двести сорок… Куда ему такие деньги? Нет, Шаляпин гений, явление уникальное, но всё-таки! Мог бы и сам догадаться, что получать такие суммы, когда вокруг все бедствуют, просто аморально!

– А вы бы отказались на его месте, Серёжа?

– Врать не буду, не знаю…

– Вот и не судите. Тем более, мы не можем знать, как распоряжается Фёдор Иванович своими гонорарами. Может, он помогает кому-то…

– Дождётесь, – хмыкнул Кудрявцев. – А ведь я к вам, Ольга Романовна, по делу!

– По какому же?

– Хочу вам сосватать квартиранта.

– Весьма кстати! Нас уже давно теснит домком. Я сама думала искать кого-то, чтобы «товарищами» не уплотнили, но тут появилась Лида… Кто этот человек, о котором вы хлопочете?

– О, это дивный человек! Невероятный человек! Можно сказать, гений!

– Актёр?

– И режиссёр! Сапфиров, может быть, слышали? О нём писали в газетах.

– Да, помнится, я читала о нём когда-то… Только я не знала, что он в Москве.

– Прежде он больше гастролировал по Европе. Оригинальный человек! – Серёжа заметно оживился и повеселел.

– Еврей?

– Шут его разберёт! О нём достоверно ничего не известно. Одни говорят, будто он перс, другие подозревают черкеса, третьи предполагают, что он немец. Сапфиров – это, разумеется, псевдоним. Настоящей фамилии не ведаю. Точно знаю, что долгое время он жил на востоке, начинал играть в ташкентском театре, был знаком с Комиссаржевской, ставил в Петербурге, потом гастролировал по всей Европе. В Москву он приехал перед самой революцией и не то застрял здесь, не то по собственной охоте осел, устав кочевать. Здоровье его неважное. Может, в этом причина. Но это гений, Ольга Романовна! Ручаюсь вам! Сейчас он ставит в нашем театре «Фауста»! Это – потрясающе! Для меня, благодаря ему, всё творение великого Гёте открылось заново! И как оно современно! Как оно звучит сегодня! Раньше же мы и услышать не могли… Герман Ильдарович играет Мефистофеля. Это надо видеть! Это

такая сила! – Кудрявцев широко развёл руками. – Мне в его постановке тоже досталась роль. Небольшая, но в ней есть монолог, который дороже иных больших ролей. Когда я произношу его, внутри меня всё напряжено. Понимаете, я говорю то, что не посмел бы сегодня сказать вслух, чтобы не быть обвинённом в контрреволюции. Но слова великого Гёте дали мне свободу говорить! Вот, послушайте, Ольга Романовна эти слова! – и приглушённым голосом он начал читать с видимым вдохновением:

– Увы! К чему рассудка полнота,
Десницы щедрость, сердца доброта,
Когда кругом все стонет и страдает,
Одна беда другую порождает?
Из этой залы, где стоит твой трон,
Взгляни на царство: будто тяжкий сон
Увидишь. Зло за злом распространилось,
И беззаконье тяжкое в закон
В империи повсюду превратилось.
Наглец присваивает жён,
Стада, светильник, крест церковный;
Хвалясь добычею греховной,
Живет без наказанья он.
Истцы стоят в судебном зале,
Судья в высоком кресле ждёт;
Но вот преступники восстали —
И наглый заговор растет.
За тех, кто истинно греховен,
Стоит сообщников семья —
И вот невинному «виновен»
Твердит обманутый судья.
И так готово все разбиться:
Все государство гибель ждёт.
Где ж чувству чистому развиться,
Что к справедливости ведёт?
Перед льстецом и лиходеем
Готов и честный ниц упасть:
Судья, свою утратив власть,
Примкнет в конце концов к злодеям.
Рассказ мой мрачен, но, поверь,
Еще мрачнее жизнь теперь.

Так был правдив и ярок этот монолог, столько неподдельного чувства вложено в него, что Ольга Романовна не удержалась и, как бывало некогда, когда Кудрявцев играл свои первые роли, крепко-крепко пожала ему руки и матерински поцеловала в лоб:

– Браво, Серёженька! Вы мне истинное удовольствие доставили!

– Спасибо, Ольга Романовна! Вы знаете, как я всегда дорожил вашим мнением, – Кудрявцев улыбнулся. – Так вы идёте?

– Куда?

– Как куда? В театр, разумеется! Здесь рукой подать до него!

– Нет, Серёжа… Я не могу. Ведь сегодня девятый день и…

– Ольга Романовна, драгоценная! Я ведь вас не на премьеру спектакля зову! Она, если даст Бог, лишь через месяц состоится. А познакомиться с Германом Ильдаровичем. Он уже две недели в театре живёт, так как квартиру, где он жил прежде, уплотнили. А у него здоровье слабое. А у нас в театре холод и никаких условий. Поговорите с ним, может, он сегодня и переберётся к вам. Ольга Романовна, я вас прошу! – Серёжа умоляюще сложил руки.

Отказать столь горячей просьбе было трудно, и через полчаса Ольга Романовна уже входила в театр, в котором раньше бывала каждую неделю, а за два года последних не переступила порога. На сцене как раз шла репетиция сцены Мефистофеля и Бакалавра. Запальчивый юнец надменно бросал чёрту:

– Ах, этот опыт! Дым, туман бесплодный;
Его ведь превосходит дух свободный!
Сознайтесь: то, что знали до сих пор,
Не стоило и знать совсем?

– Обождите чуть-чуть, Ольга Романовна. Репетиция уже заканчивается, – сказал Кудрявцев. – Присядьте!

– Всё движется, всё в деле оживает;
Кто слаб, тот гибнет, сильный – успевает.
Пока полмира покорили мы,
А вы как жили, старые умы?
Вы думали, судили, размышляли,
Да грезили, да планы составляли
И сочинили только планов тьмы.

– Заметьте, Ольга Романовна, это же типичный наш революционер-нигилист! Сапфиров нарочно включил эту сцену в постановку!

– Да, вот призванье юности святое!
Мир не существовал, пока он мной
Не создан был; я солнце золотое
Призвал восстать из зыби водяной;
С тех пор как я живу, стал месяц ясный
Вокруг земли свершать свой бег прекрасный;
Сиянье дня мой озаряет путь,
Навстречу мне цветёт земная грудь;
На зов мой, с первой ночи мирозданья,
Явились звёзды в блеске их сиянья!
Не я ли уничтожил мысли гнёт,
Сорвал тиски филистерства, свободный,
Я голос духа слушаю природный,
Иду, куда свет внутренний влечёт,
Иду, восторга полный! Предо мною
Свет впереди, мрак – за моей спиною!

Юноша ушёл. На сцене остался лишь Мефистофель. Он не был облачён в традиционные алые одежды. На нём был цивильный костюм, длинный чёрный плащ с бордовым

подбоем, цилиндр. Он стоял, опершись на трость, и смотрел вслед ушедшему с усталой насмешкой:

– Иди себе, гордись, оригинал,
И торжествуй в своём восторге шумном!
Что, если бы он истину сознал:
Кто и о чём, нелепом или умном,
Помыслить может, что ни у кого
В мозгу не появлялось до него?
Но это всё нас в ужас не приводит:
Пройдут год, два – изменится оно;
Как ни нелепо наше сусло бродит,
В конце концов является вино.
Вы не хотите мне внимать?
Не стану, дети, спорить с вами:
Чёрт стар, и чтоб его понять,
Должны состариться вы сами.

Репетиция окончилась. Кудрявцев взметнулся на сцену:

– Герман Ильдарович, это было великолепно!

– Благодарю вас, но великолепного ничего не было…

Ольга Романовна поднялась следом, и Серёжа, кружа, точно было ему всё ещё двадцать лет, представил её и Сапфирова друг другу.

– Герман Ильдарович, вы не должны отказываться! Над квартирой Ольги Романовны нависла угроза уплотнения. Представляете, как ей будет неприятно, если в соседней комнате заведётся какой-нибудь гегемон? Так что соглашайтесь, собирайтесь и переезжайте! Ведь это же никуда не годится, чтобы вам в театре на старом диване ночевать!

Сапфиров казался несколько удивлённым. Суета Кудрявцева его, погружённого в работу над постановкой, видимо слегка утомляла.

– Хорошо, хорошо. Я вам очень благодарен, мой друг!

– Всегда рад служить! А теперь простите меня, но я должен откланяться. Я Кате обещал… Неотложные дела… – и улетел, улетел танцующей походкой постаревший юноша, во мгновение ока простыл след.

Герман Ильдарович выглядел несколько смущённым:

– Прошу извинить такую назойливость моего друга, Ольга Романовна. Он чересчур беспокоится обо мне… Однако, верно ли он передал суть дела?

– Совершенно верно. Мы с вами могли бы быть полезны друг другу. В моей квартире как раз пустует комната, и она в вашем распоряжении.

– Какова же оплата?

– Бог с вами! В моём доме живут не квартиранты, а друзья. Оплаты никакой. Только живём мы своего рода общиной. Стол общий. Кто что смог достать – всё в общий котёл идёт, на всех делится. Простая взаимовыручка.

– И что же, можно хоть сегодня перебраться?

– Разумеется.

– В таком случае я буду через пять минут. И вы не можете себе представить, какое делаете мне одолжение, и как я вам благодарен!

Сапфиров, действительно, возвратился ровно через пять минут. Он был всё в том же костюме, но без плаща и цилиндра. Вся поклажа его составляла небольшой саквояж. Герману Ильдаровичу по виду давно перевалило за пятьдесят. Внешность его выдавала восточ-

ные корни. Его легко было принять за араба, благодаря смуглой матовости кожи и тёмным, как восточная ночь, глазам. Крупный же нос мог свидетельствовать о кавказском происхождении режиссёра. Волосы его, аккуратно подстриженные, были некогда, должно быть, черны, теперь же обильная седина сделала их стальными. Сапфиров был высок, строен. Можно было судить, что в молодости он был очень красив. Ольга Романовна отметила, что роль Мефистофеля весьма и весьма подходила ему. Не злого, мрачного демона, не юркого беса, а ироничного мудреца, всё видевшего, всё знающего.

У театра Герман Ильдарович неожиданно остановил извозчика:

– Прошу вас, Ольга Романовна!

– Право, не стоит! Это слишком дорого, а идти недалеко…

– Однако же, позвольте мне настоять. Довольно, что мой добрый друг заставил вас пешком проделать путь сюда.

Давно не ездила Ольга Романовна на извозчике. Так дорого стало это удовольствие, что в самые дальние концы приходилось ходить пешком. А, оказывается, как сладко это – не идти, а ехать по родным улицам! Давно забытое чувство воскресало. Жаль, краток был путь, и, вот, уже остановились у родного дома. Расплатился Сапфиров, галантно подал руку. «Обаятельный человек!» – подумала Ольга Романовна.

За ранним ужином, ставшим одновременно и поздним обедом, обитатели «Ноева ковчега» знакомились с новым постояльцем. Наибольший интерес вызвал он у Олицкого, старого театрала, к тому же немало музыки сочинившего для спектаклей Свободного театра.

– Объясните, глубокоуважаемый Герман Ильдарович, почему вы, полжизни проездив по Европе, именно теперь остаётесь в России? Когда из неё все наоборот уносят ноги? Почему вы-то не уезжаете?

– По правде говоря, не случись всей этой кутерьмы, я, должно быть, и не остался бы.

– Вам что же, нравится то, что происходит?

– Нет, не так… Понимаете, господа, я тридцать лет был одержим идеей поставить «Фауста». Я колесил по разным странам, ища нечто, что могло бы мне помочь воплотить мой замысел. И не находил нигде! Нужной ноты, атмосферы – не знаю, как объяснить. И, вот, я приехал в Россию, почти утеряв надежду. И угодил в кипящий котёл! Когда началась революция, меня осенило! Я понял, о чём буду говорить в своём спектакле! Я понял, что «Фауста» надо ставить только в России и только теперь! Потому что Россия и есть – Фауст! Понимаете ли вы меня?

– Скорее Иов, – заметил Миловидов.

– Позволю себе не согласиться с вами! Помните ли начало «Фауста»?

Тебе позволено: иди
И завладей его душою
И, если можешь, поведи
Путём превратным за собою, -
И посрамлён да будет сатана!
Знай: чистая душа в своём исканье смутном
Сознанья истины полна!

Господь был уверен в Фаусте и отдал его на испытание Мефистофелю. Тот испытывает его не страданиями, а всевозможными страстями, похотями. Соблазном! Именно соблазн должен был довести человека до состояния гада, ползающего в помёте и гложущего прах от башмака. Россия была отдана на испытание не в Семнадцатом, а раньше! Она и испытывалась соблазном вплоть до революции. Свободы, парламентаризм, печать, растление духа и тела. Кафе-шантны, извращения разных сортов, пьянство, преступления… Да чего только не

было! Россия была искушена всем, не было порока, которому бы не пытались поработить её душу. Я жил в Петербурге какое-то время, я хорошо знаю нравы интеллигентного общества, так называемого света. Одних взял соблазн ума, других – плоти. Они пали первыми. Но это ещё не Россия была. Россия шла через эти соблазны, но не один не заставлял её воскликнуть: «Остановись мгновенье!» Они могли тешить на какой-то момент, но души покорить не могли. Так же и Фауст! Чем только не искушал его Мефистофель, а ничего не выходило. Но, наконец, такая жизнь привела Фауста к слепоте. Помните за что? За то, что он презрел заботу. И Россия презрела её в какой-то момент, и ослепла. И всё же благое ещё не умерло в душе. Последняя мечта Фауста: осчастливить весь мир!

Я целый край создам обширный, новый,
И пусть мильоны здесь людей живут,
Всю жизнь, в виду опасности суровой,
Надеясь лишь на свой свободный труд.
Среди холмов, на плодоносном поле
Стадам и людям будет здесь приволье;
Рай зацветёт среди моих полян,
А там, вдали, пусть яростно клокочет
Морская хлябь, пускай плотину точит:
Исправят мигом каждый в ней изъян.

Это и есть – коммунизм! Сладкая грёза слепого, но благожелающего Фауста, познавшего все искусы. Сладкая грёза России, которая вдохновлена теперь идеей не столько построить земной рай у себя, но подарить его всем народам, весь мир осчастливить! Но кому поручается воплощение этой задачи? Бесам! И бесы, пользуясь слепотой Фауста, не рай строят, а роют могилу ему. А он, веря, что они строят рай, восклицает: «Остановись, мгновенье!» Это же суть всей нашей революции! В тот же миг сброшен был Фауст в могилу. Россия была в могилу сброшена! «Фауст» – это пророчество, господа. И пророчество обнадёживающее. Фауст, шагая по пропастям, искал блага высшего, он мечтал о благе для всех людей, и этим сохранил в глубине сердца верность Богу, и за это помилован был.

Цветы вы небесные,
Огни благовестные,
Любовь всюду шлёте вы,
Блаженство даёте вы,
Как сердце велит!
Слова правды чистой
В лазури лучистой
Из уст вечной рати
И свет благодати
Повсюду разлит!
Пламень священный!
Кто им объят —
Жизни блаженной
С добрыми рад.
К славе господней,
К небу скорей:
Воздух свободней,
Духу вольней!

Вы понимаете, господа? Не копьями и стрелами побеждает тёмные силы небесное воинство, а цветами! Смиренными цветами, которые Бог украсил более всех сильных на земле! Бесов, тьму побороло милосердье и любовь смиренных. Этим была спасена душа Фауста. И душа России так же спасена будет! Мефистофель ищет зла, но совершает благо. И я уверен, что наше страшное время станет великим благом! Буря очистила всё наносное, она обнажила глубины зла, но и вершины святости. Могли ли мы догадываться, живя в сытом благополучии, в расслабленности, что столько сохранилось живых душ, которые не нищим копеечку подать всегда готовы, а, как первые христиане, на лютые муки за веру идти? А оказалось, что есть такие! И в этом торжество и красота нашей эпохи!

Юрий Сергеевич слушал пространный монолог Сапфирова и завидовал его вере. Самому Миловидову уже не виделось никакого положительного исхода из воцарившегося ада. Вид всеобщей разрухи в прямом смысле убивал его. В июне по поручению Наркомпроса он в составе назначенной комиссии, в которой оказалось немало достойный и знающих людей, подлинных подвижников в деле сохранения русской культуры, ездил в провинцию, составляя опись ценностей разрушенных и разграбленных усадеб. Вид этих разорённых гнёзд подействовал на Юрия Сергеевича очень тяжело. Правда, ненапрасной поездка была. Удалось спасти некоторые вещи. Ценность их лично перед Луначарским отстаивать пришлось. Ему вроде как и поклониться впору. Без него, должно быть, и того бы сохранить не удалось. Вот и Архангельское взять. Не разрушили, не разграбили, ценности все – на месте пока. Лично и с большим облегчением убедился Миловидов. Правда, парк совершенно запущен стоял, но это – дело восстановимое. Лишь бы не растащили реликвий бесценных! А сколько кануло их без следа… Исчезла, к примеру, замечательная коллекция живописи Великого князя Сергея Александровича. Миловидов знал князя лично. Сергей Александрович, будучи человеком глубоко и всесторонне образованным, большим знатоком истории (даже зарубежной, что продемонстрировал однажды его спор с римским понтификом, в котором выяснилось что русский князь лучше знал историю западной церкви, нежели её глава), не раз принимавшим участие в археологических раскопках, и ценителем искусства, немало потрудился на музейно-просветительской ниве, будучи московским градоначальником. Им были спасены от гибели тысячи уникальных книг, его стараниями был создан Исторический музей, при его поддержке – открыт художественный музей имени Императора Александра Третьего. И музей, которым столько времени заведовал Миловидов, тоже при поддержке князя был открыт. И не просто это была поддержка бюрократа, желающего прослыть ценителем прекрасного, а живейшее человеческое участие искренне заинтересованного человека, любящего и ценящего искусство. А ещё выкупал Сергей Александрович древние иконы, дабы после его смерти стали они достоянием всего народа. Много было реликвий собрано князем. И несколько раз имел Миловидов честь давать ему советы профессионала. Одной из реликвий Сергея Александровича была мантия Серафима Саровского, доставшаяся ему от матери. Эту чудотворную ризу отзывчивый к чужой беде князь давал всякому, с кем приключалась болезнь, и многих исцеляла она. Теперь и этой ризы не сыскать было! Много блага сделал князь для Москвы, а за это сколько шельмовали его, сколько гнусных сплетен распускали… И, в итоге, убили. Что за рок? Убили так же, как его отца. Убили первым из членов императорской семьи, ставших жертвами террора. Теперь и до них добрались. И до праведной жены Сергея Александровича, и до всех, до всех… Его брата, последнего из сыновей Александра-Освободителя расстреляли в Петропавловке в январе… А с ним ещё троих Великих Князей. Среди них – Николая Михайловича, учёного, историка, искреннего друга и покровителя искусства и литературы. Благороднейшего человека. Даже меньшевик Мартов в своей газете воскликнул по этому поводу: «Стыдно!» Но им – разве могло быть стыдно? Они и чувства-то такого не знали! Увидел Ленин крест, бывший памятником Сергею

Александровичу, по эскизам Васнецова созданный, освирепился, почему стоит ещё, потребовал верёвку, накинул петлю и на пару со Свердловым лично свалил ненавистный крест. Они сносили памятники царям и героям прошлого и ставили – убийцам. Как острый нож в сердце был Миловидову – памятник Ивану Каляеву! И указано, за что: «Уничтожил Великого Князя Сергея Романова». Уничтожение – главная «доблесть» нового времени! Главные герои не те, кто строит, а – кто рушит, уничтожает… Стоял Юрий Сергеевич перед этим памятником и плакал. Вспоминался Пушкин:

Закон,
О вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: «блаженство!»…
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей? Убийцу с палачами
Избрали мы в цари! О ужас, о позор!

Гении, гении, сколько же прозорливости было у них… Вот и Гёте… Странный этот темновзорый режиссёр какие параллели раскрыл!

– Целый год я откладывал постановку, напитывался атмосферой. А теперь понял: пора. И жизненные сроки торопиться требуют. Здоровье стало подводить… А я непременно должен успеть сыграть этот спектакль! Тогда и умирать не страшно.

– А вы, простите за вопрос, верующий человек, Герман Ильдарович? – спросил Миловидов.

– Смотря, что вы вкладываете в это понятие.

– Вы рассуждали о России очень… религиозно…

– Я верю в Бога, Юрий Сергеевич. Но не отношусь, наверное, ни к одной церкви. Христос мне представляется скорее великим пророком, одним из мудрейших учителей человечества.

– Вы не толстовец?

– Я разделяю отдельные идеи графа, но не все. Я сам по себе.

– Непротивление злу разделяете? – прищурился Олицкий.

– Да, разделяю.

– Неумно с вашей стороны.

– Зло самоистребительно, князь. С ним не нужно бороться, озлобляя самих себя.

– Да? – Олицкий начинал раздражаться. – А, по-моему, самое умное, что могли бы сделать наши кадеты и Керенский, это поставить гильотину на площади и истребить весь этот… совет! К чёрту! Как однажды грозился Милюков!

– Помилуйте, Володя, – покачала головой Ольга Романовна, – ведь вы Столыпина осуждали за жёсткость методов!

– Я этого не помню, – смутился князь, но тотчас продолжил гнуть своё: – Вот, исполнили бы тогда угрозу, и не было бы никакого центрохама! Ни Ленина! Ни этого… Как его теперь должность звучит? Абракадабра несусветная! Троцкого! А он соловьём разливается теперь, – ткнул в лежавшую на столе газету: – Как кулака давить на Украине! И что Колчак разбит! Что дела Деникина плохи! И, вот, извольте резолюция очередная: «Рабочие и крестьяне России смогут в широкой мере восстановить разрушенное контрреволюцией хозяйство и создать для трудящихся советских граждан достойную жизнь без хозяев, без гнёта, без холода и голода…» Чёрта с два!

– Врёт звездочёт!
Алхимик врёт!
Сто раз слыхал!
Напрасно ждал!
Опять и тут
Обманет плут!

– То-то же… Ваши черти закопали Россию в могилу так, что легиона ангелов не хватит, чтобы вытащить…

– Не читайте вы газет, Володя, поберегите нервы, ей-Богу.

Миловидов закрыл нестерпимо болящие глаза. К вечеру они едва видели, а резь не проходила вовсе. Слёзы ли выжгли их беспощадно? Говорят, если глаза постоянно на мокром месте, это первый признак душевного расстройства и утомления мозга. Извёл Юрий Сергеевич и мозг, и душу свою. Он чувствовал, что болен, но не противился болезни. И не думал о загранице. Олицкому – и лучше бы уехать. Одним приличным человеком больше спасётся. А ему, Миловидову, незачем. От себя не убежать. В ту июньскую поездку повидал Юрий Сергеевич много деревень. И ужасался. Не тому, что стало с хозяйством, но – с людьми. Миловидов не так-то далёк был от народа. В своих частых поездках по России он видел простой народ, ночевал в крестьянских избах, разговаривал с мужиками и бабами, и недоумевал, что же случилось вдруг? Прежде он видел сильных, здоровых людей, размеренно живущих и хозяйствовавших. И лица их были спокойны, ясны. А что же теперь? Жадные, завистливые лица, ищущие урвать своего. И краше всех – комбедовцы. Дошлые, плюгавые людишки с недобрыми, хитрыми глазами. Но и другие хороши… Какие, интересно, были лица тех сильных и здоровых, когда они миром шли громить хозяйскую усадьбу, а потом, довольные поживой, тащили в дома ворованную утварь? А, может, не осталось тех? И полегли они на войне? А кто вернулся – те ею искалечены были духовно? В каждой избе ворованное было, и не стыдились… А ведь когда-то ездил Юрий Сергеевич один, имея при себе большие деньги и ценности, и никто ни разу не покусился на него! И сам он никогда не боялся мужика. Не боялся человека. А теперь боялся всех. И все боялись друг друга. Не оттого ли, что человек в человеке умер? А зверь явился?

– Знаете, Герман Ильдарович, мне бы очень хотелось разделить вашу веру в благополучный исход, но я не верю… Я верю, что Россия в том или ином виде возродится, восстановит своё могущество. В то, что у нас будут электричество, машины и иные чудеса техники, от которых, простите, по-моему, больше вреда, чем пользы при духовном падении общества. Но люди? Но душа? А какой смысл в теле, если души нет?

– Юрий Сергеевич, – укоризненно покачал головой Олицкий, и даже что-то ласковое проступило в его тоне. – Зачем такой пессимизм? Если вы не верите в будущее, то зачем тогда бьётесь за спасение реликвий и душ?

– Наверное, от отчаяния…

– А я полагаю потому, что в глубине души вы верите в обратное тому, что говорите, а иначе бы у вас не было сил бороться.

Юрий Сергеевич сомкнул холодные, как лёд, руки, произнёс дрогнувшим голосом, борясь с подступающими слезами:

– А знаете, господа, что такое Россия? Россия – страна плачущих ангелов. Есть такая легенда, что к каждой церкви приставлен для охраны её ангел. Если церковь разрушена, осквернена, если ангел не уберёг её, то он обречён оставаться над тем местом, где она стояла, и плакать о ней до той поры, пока она не будет возрождена. Сейчас осквернённых, запечатанных и разрушенных церквей всё больше. И над каждой из них плачет ангел. И над каждой душой погибшей. И над всей Россией, которая единым храмом была. Может быть, пройдёт

много лет, и эти слёзы, как живая вода, дойдут до сердца России и оживят его, и оно забьётся вновь, чистое, здоровое сердце нашей Родины, и тогда, только тогда возродится она.

Глава 4. За деревьями леса не видно…

Сентябрь 1919 года. Новониколаевск

Сколько помнил себя Антон, никогда не был он без дела, но в любой работе – из первых. Таким он был и смекалистым деревенским мальчонкой Антошкой, опорой и надеждой отца, таким оставался и Антоном Евграфовичем, вернейшим соработником и помощником тестя. В детстве, было время, и сапог не имел, и сыт был лишь пустыми щами без подбелки (хотя какая там сытость: голод тот же, а только в брюхе гремит тоскливо), а теперь одевался у лучших портных, и на столе изысканные яства не переводились, и тощий мальчишка превратился в солидного господина. Но ведь и не просто так далось это, это – и заслужил он! И не только, как завистники думали, выгодной женитьбой. Дал бы отец Манюше любимой за бестолка замуж выйти! Взял бы, держи карман, бестолка на службу, сделал бы правой рукой своей! Акинфий Степанович и сына-то за так не устроил бы, не то что зятя. А Антон землю носом рыл, работал так, что только оттаскивай. Он своё благоденствие заслужил годами труда, умом своим, работоспособностью, деловой жилкой, всегда в нём присутствовавшей. И, вот, к тридцати восьми годам стал Антон Евграфович виднейшим человеком в Новониколаевске и, без скромности сказать, во всей Сибири. В кругах экономических кто не знал Юшина? И уже как будто не только, как зятя «того самого Акинфия Земелина»… Тесть стар уже был и хоть всё ещё держал в руках бразды правления, смотрел недрёманным оком, а силы не те становились. И постепенно входил Антон во владение тестевой «империей», включавшей в себя гектары пахотной земли, фабрики, пароходство… Ах, какой размах был! Уже на рынках российских хорошо знали земелинскую продукцию, а впереди – рынки европейские были. Какие перспективы открывались для Антона с его хваткой и опытом! Как бы ещё расширилась «империя»! Если бы…

Что такое революция и чем она чревата Антон смекнул раньше многих. Он и до неё всяких бунтарей-буревестников ненавидел всем сердцем, безошибочно понимая, что разрушат они не что-то абстрактное, далёкое, а его, Антона, хозяйство, его жизнь. Это они со стариком Акинфием подпадали под понятие эксплуататоров, хотя, видит Бог, никто из служивших у них никогда не терпел нужды. Земелин на этот счёт мудр был: лишнего никому не давал, но и на насущном не экономил. Считал он, что на людях экономить – собственному делу вредить. И потому платил им достойное жалованье, и пенсион по болезни и старости (и семьям – по утрате кормильца). Правда, когда грянуло, нашлись дебоширы, которые пытались растравить людей и натравить на «буржуев-раскапиталистов». Но не так-то просто было сибиряка раскачать. Сибиряк – человек суровый, быстроты и горячки не любит. Его с места не вот стронешь. К тому же и серьёзных причин для возмущений не было. Побузили местами, а, пока раскачивались, уже и разогнали совдеп – спасибо Гришину-Алмазову сотоварищи. Так и обошлось. Но не знал покоя Антон. Точил его страх потерять всё, таким трудом добытое. И выворачивало: чтобы какая-то голытьба из лентяев и пьяниц, какая-то шантрапа, дела не знающая, какие-то воровайки, прикрывшиеся идеей – их с Акинфием «империю» разоряли, им диктовали, как жить?! Да не бывать тому!

Потому-то и с первых дней вошёл Антон в сношения с подпольем, стал активным участником его, помогал средствами. Вот, и братца подтянул – нечего болтаться в такое время! И вначале путём пошло дело, душа радовалась – так прижали вороваек, что, казалось, не очухаться им. А теперь…

По весне большие надежды возлагал Антон на открывшееся по весне в разгар побед на фронте (почти до Самары дошли!) Государственное Экономическое Совещание, членом

которого он стал. Оно, как представлялось, должно было помочь правительству в выработке необходимых законов в гражданском управлении, которых, по сути, не существовало. Адмирал видел главную задачу в решении вопросов снабжения армии, разборе бюджета, решении земельного вопроса и, в дальнейшем, подготовлении выборов в Национальное Собрание. Об этом он говорил в своей приветственной речи на открытии Совещания. Председатель Совещания, детищем которого и было оно, Георгий Константинович Гинс в своей речи заявил:

– Победы нужно добиться двойной, над большевизмом и над хозяйственной разрухой страны. Победить то и другое можно лишь при условии, что Правительство так же, как год тому назад, будет действовать в атмосфере общего сочувствия и единодушного порыва. Больше чем когда-либо необходимо полное единение всех сил власти и общества. Силы эти должны быть сосредоточены прежде всего на стороне хозяйственной.

Русская революция пошла по неправильному пути. Она совершилась во имя политической свободы и улучшения экономического благосостояния широких народных масс, а привела она к уничтожению свобод и разрушению даже относительного благосостояния, которое было ко времени революции.

Однако возвратить политические свободы легче всего. Кто раз сознал своё гражданское достоинство, тот не обратится в раба. Но есть серьёзная опасность и в этом отношении. Эта опасность заключается в нищете.

Нищим, голодным легче обратиться в рабов или преступников, чем сохранить гражданское достоинство и защищать политическую свободу. Иначе поступают только исключительные натуры. Вот почему для сохранения политической свободы необходимо прежде всего восстановить хотя бы относительное экономическое благосостояние масс.

Антону импонировали высказываемые Гинсом мысли, импонировала деловитость и энергичность его, но и не хватало же многого этому франтоватому столичному юристу, отметившемуся на второстепенной должности во Временном правительстве и занесённому судьбой в Сибирь. Не хватало понимания Сибири, духа её, не хватало хозяйственных знаний, не хватало закалки государственного человека. Некоторая легковесность присутствовала в нём. Довольно разбирался Антон в людях, чтобы заключить, что Гинс без сомнения очень умный, довольно грамотный человек и даже талантливый политик, но не государственный муж, не хозяин. Последних и вовсе не видел вокруг. Велика Сибирь, а людей не хватает… Впрочем, на том первом заседании был Антон в добром расположении духа и искренне надеялся на то, что Совещание сможет решить возложенные на него задачи. Надежда эта тогда разделялась всеми присутствовавшими. И точно выразил настроение представитель земской группы:

– Высказываем убеждение, что все деятели Правительства, и деятели земств и городов, и работники на ниве экономической объединятся в работе Государственного Экономического Совещания, примут необходимое участие в строительстве новой Великой свободной России, с одной мыслью и одним желанием – блага, счастья и величия нашей Родине…

Работа началась, но не принесла ни результатов желаемых, ни отрады. И хуже: чем глубже вникал Антон в дела, тем страшнее становилось. Помилуй Бог, на чём только держалось всё?.. Железные дороги парализованы. Отчасти чехами, якобы их охраняющими. А всего сильнее угнездившимся всюду жульём. О положении на таможне не понаслышке знал Антон: ведь и их «империи» грузы возились по дорогам. Чтобы через Сибирь провезти груз, ох и потрудиться нужно! Ох и много средств истратить! Правительственной таможне – дай. Семёновской таможне – дай. А ещё в каждом центре может приключиться военная реквизиция. И уже на месте назначения могут реквизировать его вкупе с присланными за ним подводами «для нужд военного ведомства». Всё, решительно всё тонуло во взяточничестве и произволе! Власть была, но об этом как будто не ведали. А сама власть совершенно не умела взять с необходимой твёрдостью бразды правления. О законах много говорили, редко принимали и уж совсем не спешили исполнять. А законы так нужны были! Хорошие, грамот-

ные законы, понятные всем и каждому! Единые для всех! И приняв их – добиваться всеми мерами их исполнения! Иначе большевизм не одолеть! И до отчаяния понималось это. С начавшимся развалом на фронте – ещё острее. Наконец, не выдержал Антон. Нужно было что-то делать, нужно было бить в набат. Отправился, не долго думая, к капитану Кромину, состоявшему при Верховном в качестве помощника и бывшему близким к адмиралу человеком. С Кроминым знаком был Антон не только по делам служебным, но и через невестку Надю: Борис Васильевич старинным другом её семьи был. Эта дополнительная зацепка придала уверенности. К кому ж ещё идти, как не к нему? Сначала до него донести, а уж он, глядишь, достучится до своего патрона. И без того слишком долго тянул, откладывал. Уже и Челябинск оставили красным! А дальше – Курган… Курган, в окрестностях которого были у тестя земли и дом… И это теперь воровайкам доставалось! Дожили-таки!

– Борис Васильевич, надо что-то делать! – начал напористо прямо с порога.

– Надо, несомненно надо, Антон Евграфович, – согласился Кромин, и Антона передёрнуло от его спокойного вида. Но, не снижая напора, рубил без лишних обиняков:

– Мы проигрываем партию, Борис Васильевич! И проигрываем из-за собственной неумелости и дряблости! Нужно срочно составить и принять к немедленной реализации план спасения положения, план выхода из той критической ситуации, в которой мы оказались!

– У вас, надо полагать, уже составлен такой?

Показалось Антону, или раздражение прозвучало в этом вопросе, вызов? Предпочёл не заметить, ответил твёрдо:

– Кое-какие наработки есть. Во-первых, нужно другое правительство, состоящее из людей воли, в которых у нас острейшая недостача. Нужно правительство единомышленников, которое осуществляло бы вдобавок единую волю. У нас по сей день цель далеко не всеми одинаково понимается. У нас нет единого плана действий и нет продуманных методов и средств к его реализации. Взгляните на большевиков! Они действуют, как единая машина! У них каждый человек, что винтик! Все подчинены единой идее, единой воле. А у нас кто в лес, кто по дрова! Все на свой страх и риск действуют! С этим надо кончать!

– Всё не совсем так. В последнее время правительство старалось работать именно так, организованно, – не согласился Кромин.

– Значит, плохо старалось! – резко обрубил Антон. – Борис Васильевич, давайте не будем друг перед другом разыгрывать представления. Уверен, что вы всё понимаете не хуже меня. Весной мы все предались эйфории, возмечтав о лёгкой победе. А нужно было дело делать! Законы принимать!

– Так ведь разве мы не принимали их? – вскинулся Кромин. – Мы возродили фактическую вовлечённость населения в систему управления через выборы и иные формы, самостоятельность масс, местное самоуправление! Мы поддерживали предпринимательство, банковскую систему, восстановили свободу торговли…

– И ничего не смогли поделать со спекулянтами, облепившими эту отрасль!

– За год ежемесячное поступление доходов в казну увеличилось с 50 до 140 миллионов рублей. Вспомните, Антон Евграфович, какие крупные кредиты выделялись промышленности, кооперации и местному самоуправлению! Мы приняли законы для улучшения социальной обстановки: пайки, пенсии, лечебные места на курортах для больных, организация мастерских, где организовано обучение инвалидов… А вы говорите, что мы не делали ничего! Да, много недоработок было, но многое и сделали! Мы издали декларацию о земле…

– Борис Васильевич! – покоробило Антона упоминание о последнем «достижении». – От вашей декларации вред один! Не декларация, не декларация должна была быть, а действия! Вы приняли декларацию, а реализацию её отложили до победы! А люди не верят обещаниям! Люди хотят видеть дело! Вы сами дали большевикам козырь для смущения

масс, для того, чтобы их прокламации имели успех. А там пишут о сибирском «царьке», «неумолимом скуловороте» Колчаке, возвращающем старые порядки. «Возвращай, крестьянин, землю помещику, которую ты держишь сейчас, а не то, как нарушитель частной земельной собственности, будешь отдан под суд…». Ко скольким восстаниям это привело! В Икее кузнец Степанов обратился к односельчанам: «Явился новый правитель Колчак, он хочет восстановить старые порядки, возместить все недоимки – хлеб и деньги, боевая душа с 18 лет до старости платить 3 руб. будет. Не надо помогать Колчаку!» Добро, оказались в селе трезвые мужики, заорали на него: «Надо Колчаку помогать, он Россию спасает, а то большевики всё разрушат!» А всё-таки – восстание!

– Тёмным массам, Антон Евграфович, не угодишь ничем, – Кромин отхлебнул воды, наполнив гранёный стакан. – Мы отменили государственное регулирование торговли сельскохозяйственной продукцией, что в полной мере интересам крестьянства отвечало. Скажете, не так? Причина такого отношения крестьян в том, что они ещё большевистского гнёта не испытали на себе.

– Причина всех наших бед в том, что у нас не существует правового государства. У нас действует принцип: приказ приказом, Колчак Колчаком, а морда мордой! Что хочу, то и ворочу! Нужно укреплять право, охрану законности и порядка. И не военно-полевой суд тут нужен, а обычный, но работающий быстро! И нужно же наладить разъяснение населению наших действий! У большевиков все лозунги насквозь лживы, но они так умело и энергично внедряют их, что им верят! Наши лозунги честны, но мы совершенно не умеем убеждать людей в их справедливости, и нам не верят! У нас все заняты политиканством, а не делом! Нужно наводить порядок, Борис Васильевич! Со всей твёрдостью! Если надо, то и с применением силы! Если масса не понимает, что творит, её надо заставить делать то, что требуется, а не то, чего ей хочется. Когда больной бьётся в горячке, срывая швы и выплёвывая лекарства, то его связывают, в конце концов!

– Нас либералы зашикают и союзники…

– К чёрту и тех, и других! Заставьте замолчать этих болтунов! Сейчас не время для политиканства! А оно же – и в армии! У большевиков офицерство, купленное, запуганное, но оно не вовлечено в политику и лишь добросовестно выполняет свои технические функции. При этом оно сыто, обуто и одето. Наше боевое офицерство разуто и раздето! И солдаты – тоже! Мой брат недавно прислал мне письмо. Солдаты и офицеры ходят буквально в рванине! Один прикрыл срам, напялив мешок! Порты износились, а других не нашёл. Взял мешок и надел как юбку! Ведь это – стыд! А склады, между тем, полны вещей! Я лично узнавал! А штабы и всевозможные учреждения полны офицерами-уклонистами! Зато все вовлечены в политику! Нужно разделить армию и политику, обязанности военных и обязанности штатских!

Кромин обезоружено поднял руки, сдаваясь перед сибирским напором Антона:

– Всё, всё, всё! Вы в открытую дверь ломитесь! Всё это является моей болью, поверьте. И ещё в большей степени болью Александра Васильевича. Что вы от меня хотите?

– Как что?! Чтобы вы поговорили с адмиралом! Чтобы убедили его принять необходимые решения!

Затуманилось широкое лицо капитана, скосил глаза. Но, не давая ему уклониться, подался Антон вперёд, навис, схватил за руку, додавливая:

– Вы должны, Борис Васильевич! Вы обязаны! Пока ещё не стало поздно окончательно!

– Хорошо, – сдался Кромин. – Я обещаю довести до сведения адмирала ваши соображения.

– Когда? – не унимался Антон.

– Как только Александр Васильевич вернётся с фронта, – неохотно отозвался капитан.

На том и сговорились, условившись увидеться снова уже в Новониколаевске, куда Кромин загодя был приглашён на праздничный обед в связи с радостным событием: крестинами новорожденного племянника Антона, Петруши.

Редки стали радости в суровые годы, но и не без них было. Родила невестка сына на радость всей семье. И за неё радовался Антон, и за брата Алёшку. Почти всё лето Надя, уйдя из госпиталя, прожила у Антона, под неусыпной Манюшиной опекой. Женщины очень сблизились в этот период. Антон дома бывал наездами, пропадая по делам в Омске. И не сиделось дома, где уже тоже покоя не стало. В августе приехал тесть, вынужденный покинуть свой кров из-за отступления армии. Мудрый старик, он не стал дожидаться, когда она откатится до самого Кургана в слепой надежде на остановку, а, как только пал Челябинск, собрал вещи и вместе с гостившими у него внуками поехал к дочери. А в сентябре приехал с фронта Алёшка. Ему по случаю прибавления семейства дали двухнедельный отпуск. Как ни велика была Антонова квартира, а теперь вдруг тесновато делалось в ней, и чересчур шумно – не сосредоточиться. И удивлялся себе: уже под сорок лет, уже сам человек с положением, а под орлиным взглядом Акинфия Степановича всё ещё робел, и тянулся в струнку, словно в первый год работы у него. Крепок был старик, жилист, ни одна хворь не брала его. И нынешние несчастья принимал он стоически, словно не дело всей его многотрудной жизни в тартарары летело, а мелкая сделка сорвалась.

В самый день крестин приехал в Новониколаевск Надин отец, полковник Тягаев. Он не в отпуске был, а приезжал по каким-то делам в Омск. И лишний день удержал себе, чтобы на внука взглянуть. Рано утром приехал, а вечером уже отъезжал обратно. Тягаева впервые видел Антон, но слышать о нём приходилось. А при встрече сразу безусловным уважением проникся к новоявленному родственнику. Что-то было в этом полковнике особое, не похожее ни на одного из тех офицеров, с которыми приходилось встречаться Антону. Длинная, худощавая фигура, благородное лицо, красивое, но изборождённое глубокими морщинами. Один глаз неподвижен был – стеклянный. Другой, синий до резкости, смотрел напряжённо из-под очков. Это напряжение сквозило в каждой черте Тягаева, во всей фигуре его. Словно напружинен весь был. И за столом сидел так, точно сию секунду готов вскочить и броситься в атаку. Мрачен был полковник и, хотя старался иногда улыбаться, а не выходило. Да и другие, за столом сидевшие тоже невеселы были. Разве только дети, по малости лет не понимающие трагедии, да Надя, для которой радость материнства сейчас выше всего была. Даже Алёшка – отец молодой – понурый сидел.

Все в сборе были уже. Ожидали Кромина. А он запаздывал. И нервничал Антон. Что-то привезёт? А подсказывал голос внутренний: ничего путного. Наконец, прибыл. И ещё в передней перехватил его Антон, воззрился цепко:

– Ну? Что?

Только вздохнул капитан и головой качнул. Ничего, – значило. Ну, так и знал! А подробнее? Что же всё-таки? А, может, просто не было случая с адмиралом поговорить? Но не успел спросить: уже Кромин, обогнув его, входил в гостиную, и оттуда слышался басок его, приветствовал старого друга и счастливую мать, растекался велеречиями. Нарочно разговора избегал? Бросил вышедшей кухарке, рукой махнув:

– Подавай! – и тоже в комнату проследовал.

Непраздничная атмосфера за столом была, – это Борис Васильевич сразу ощутил и подобрался, готовясь к неприятному объяснению. Крестины… Точно на поминках сидели! Только дети и оживляли этот обед – скорее бы он кончился. Да женщины ещё ворковали. И на Надиньку-красавицу посмотреть – отрада была. Молодец, какая молодец! Спородила мужу богатыря! И отцу – на радость! Дожил-таки Пётр до внука. Светилась Надинька, как солнце весенние. Что-то особенно прекрасное появляется в женщине, когда на неё снисходит счастье материнства. Девушкой хороша была Надя, а женой и матерью ещё краше сде-

лалась – глаз не оторвать! А на Петра и взгляда не поднимал, весь он, даже в изношенном мундире своём утянутый, как на параде, живым укором сидел здесь. Наконец, сам не выдержал, проронил глухо:

– Что ты, Боря, глаза-то прячешь? Или совесть гложет?

Чересчур было это. Сразу почувствовал Кромин, что и Антон Евграфович, подле сидящий готов поддержать нападение.

– А почему она меня должна гложить, Пётр Сергеевич? Я, по-моему, в долг не брал у тебя.

– Да не вертитесь вы, господин каперанг! – Тягаев залпом опрокинул рюмку водки. – Вашу омскую артель судить бы следовало за то, что вы с фронтом сделали!

– Лебедев снят с должности…

– Лебедев не снят должен был быть! А предан военно-полевому суду и расстрелян! – жахнул кулаком по столу. – Этот мерзавец армию уничтожил, а вы его пожурили и на другую должностёнку подвинули. И с каждой же дрянью так! Хоть бы кого за абшид вывели! Нет! Все при деле! Точнее, при неделе! Полная безотходность! А оттого совершенное нарушение элементарных процессов жизнедеятельности!

– Послушай, ты преувеличиваешь…

– Я не преувеличиваю! Ты сидишь в Омске! И Ставка сидит в Омске за полторы тысячи вёрст от линии фронта! Вы ничегошеньки не видите здесь! А я фронтовой офицер! Это меня, это наш корпус ваши штабные крысы сначала мариновали в Кургане, не присылая ни гроша и вынуждая на свои средства покупать всё, вплоть до лошадей, а потом прислали «пополнение» из красноармейцев и с ними, сорвав весь план их перековки, швырнули через три недели в бой на верную гибель!

– Тебе следовало поставить меня в известность тогда! В Кургане! А не играть в благородство и не тешить гордыню!

– Владимир Оскарович щадил нервы Верховного.

– Благородно, но глупо. Ты должен был написать мне, и я бы принял меры! Но ты молчал! А теперь вешаешь на меня всех собак! Это несправедливо и обидно!

– Скажи, почему Ставка отвергла план Каппеля о действиях в тылу противника?

– Этот план был признан слишком смелым и нецелесообразным.

– Ложь! Этот план был отвергнут из зависти! Из ревности к потенциальным успехам Каппеля! Побоялись ход дать! Ну как нас, штабную бездарность, затмит!

– Пётр Сергеевич, возьми себя в руки…

– А я держу себя в руках, Борис Васильевич, иначе бы я говорил иначе! Я тебя, друг мой, не как помощника Верховного, а как офицер офицера спрашиваю: ты считаешь, что сотворённое с армией Лебедевым и его подручными не есть преступление? Ответь мне честно!

Провалиться сквозь землю готов был Кромин от этого натиска. Почему он должен отвечать за всё и за всех? За правительство? За Лебедева? И что возразить? Когда-то, ещё в Великую войну, с такой же беспощадностью и хлёсткостью обличал капитан Кромин царское правительство, Ставку и даже самого Государя. И тушевался перед ним Тягаев. Государя защищал, как стена, но и возразить по существу ничего не мог. Крыть нечем было! И каждый раз торжествовал Кромин: хоть ни в чём не уступил ему друг, а и возразить не нашёлся – значит, слаба позиция его, значит, за ним, Борисом Васильевичем, правда! А теперь поменялись ролями. И уже не Тягаев был в шкуре невольно ответственного за Царя и его правительство, а Кромин – за адмирала и его министров. Хотел защитить, всей душой хотел, а сам же и сознавал, что аргументы слабы. О царящем в верхах бедламе знал он куда больше всех присутствующих, и мог бы сам порассказать им… Но долг велел сора из избы не выносить, покрывать, защищать… А самого с души воротило. Ведь уму непостижимо: не власть нынче

стала, а двоевластие! Правительство и Совет при адмирале! Формально, правительство главнее. На деле роль его сводилась к тому, что глава кабинета ставил вопрос на голосование, подсчитывал голоса и относил одобренный большинством закон на подпись Верховному. Ни стенограмм прений, ни особых мнений не докладывалось вовсе. Проголосовали, подписали и с плеч долой! Реальные решения принимались Советом. Здесь смещали и назначали командующих, составляли план внешней политики – и всё без ведома министров! Совершенная неразбериха выходила… Катавасия такая, что и сам адмирал жаловался:

– Страшно трудно. При каждом вопросе мне приходится сначала мирить Наштаверха с военным министром, разбирать личные обиды последнего!

У армии тоже семь нянек было, включая иностранных. И спотыкались то там, то здесь. С офицерами, на красной стороне сражавшимися, ошибка вышла. Поздно спохватились, что многие же из них там вынужденно оказались, что их на свою сторону можно перетянуть. Написал тогда в конце весны адмирал обращение к ним: «Пусть все, у кого бьётся русское сердце, идут к нам без страха, так как не наказание ждёт их, а братское объятие и привет». Некоторые переходили, но не приветливо встречали их, а с подозрением. Один из таких офицеров выступал однажды с лекцией, где подробно описывал устройство красной армии, имея цель отметить ошибки в организации белой, которые необходимо устранить. Из зала закричал: «Красноармеец! Предатель!» Офицер, уже и без того больной, слёг в горячке и скоро скончался…

Со всех сторон летели в Омск сообщения о царящем повсеместно произволе. Эти сообщения больно ранили адмирала. Тем более, что многие безобразия творились его именем. Но пресечь их не удавалось. Александр Васильевич был объявлен диктатором, но так и не стал им. Ему присвоили звание Верховного правителя России, но он не ощущал себя таковым. Не ощущал настолько, что не смел прикоснуться даже к вывезенному из Казани золотому запасу. Адмирал считал, что распоряжаться им будет иметь право только будущая всероссийская власть. А как бы пригодились эти деньги теперь, когда так на всё решительно не доставало средств! И на договор с Маннергеймом, обещавшим двинуть войска на Петроград в обмен на независимость Финляндии, не пошёл адмирал, считая себя не в праве «торговать территориями России». А кстати была бы помощь эта! Но был и другой резон, более обоснованный, у Александра Васильевича:

– Мы их признаем, а они всё-таки не помогут…

Он всё меньше доверял кому-либо. Союзникам не верил вовсе. Когда предложили они взять под международную охрану золотой запас и вывезти его во Владивосток, адмирал без лишней дипломатии ответил:

– Я вам не верю и скорее оставлю золото большевикам, чем передам вам.

Весной, когда дела на фронте ещё шли успешно, Александр Васильевич приободрился, чаще стала появляться улыбка на его утомлённом лице, надежды предавали сил. Но как только начались неудачи, всё переменилось. Нервы стали подводить его, он перестал верить даже ближайшим сотрудникам. И ни признания его власти, ни обещания союзников уже не укрепляли его.

Метался адмирал, метался так же и Кромин. Борис Васильевич раздваивался. С одной стороны, его долгом было говорить Верховному всю нелицеприятную правду, а с другой… А с другой не поворачивался язык. По-человечески. Не хватало мужества сыпать соль на незаживающие раны адмирала. Каждое дурное известие встречал он с видом ведомого на казнь, на пытку. И, с таким известием приходя, невольно чувствовал себя Кромин палачом.

Можно было лишь предполагать, каким чудовищным ударом стала для Александра Васильевича челябинская катастрофа. А ведь это сам он настоял на сражении. Поддался уговорам Лебедева и других. Не все знали, как принималось то судьбоносное решение. Но Кромин знал. Это на его глазах было. И сам адмирал признавался:

– Генерал Дитерихс был против этих боёв и за отход без боя от Челябинска, но я приказал дать бой. Это риск – в случае неудачи мы потеряем армию и имущество. Но без боёв армия всё равно будет потеряна из-за разложения. Я решил встряхнуть армию. Если бы вы знали, что я пережил за эти дни!

Армия не была уничтожена, но сражение было проиграно. Не позорно, но проиграно. Не из-за слабости армии, но потому что в самом Челябинске восстали и перешли на сторону красных рабочие, и это решило итог операции. Вспомнились при известии об этом рабочие пермские. Они остались верны адмиралу до конца. Во время одной из своих поездок он был на их заводе, разговаривал с ними. Александр Васильевич умел разговаривать с рабочими, хорошо понимал их, и оттого, возможно, и они проникались доверием к нему, видя в нём не «царька», а человека, хорошо знающего их дело, их нужды. Если бы челябинские повели себя так же!

От челябинской неудачи тяжело было оправиться Александру Васильевичу. Только после неё решил он расстаться с Лебедевым и назначил на его место генерала Дитерихса, чей план был как раз нарушен наступательной операцией.

Это назначение многих заставило воспрянуть. Генерал, обладавший солидным опытом руководства операциями армии, отличившийся в боевых операциях в бытность командующим дивизией, посланной в Македонию на помощь союзникам, в разное время сотрудник двух родоначальников Белого дела, Алексеева и Корнилова, имевший крепкие связи с чехами (сам чешского происхождения был, отец его перешёл на русскую службу и воевал на Кавказе, а сыну по иронии судьбы уже на русской земле выпало чехами командовать) – это ли не удачная кандидатура была?

Может и так. Но Кромину Дитерихс был антипатичен. И крайним монархизмом своим, и фанатичной религиозностью, доходящей до мистицизма. Однако же наведался к нему в первые дни по назначении. Михаил Константинович жил в пульмановском вагоне. Здесь и работал с раннего утра и до поздней ночи, часто до трёх-четырёх часов по полуночи. И всего-то сорок пять лет было генералу, а уж считался он в Сибири стариком на фоне целой плеяды «генералов из поручиков»: чины в Сибири беспорядочно раздавали, и уже всякому известно было, что, чтобы узнать настоящий чин большинства командиров, нужно понизить его на две ступени. А то и на три. Дитерихс одним из немногих «настоящих генералов» был. Ещё Императорской армии. По виду казался он старше своих лет от запредельной усталости, отражавшейся на небольшом, худощавом лице, но тёмные, умные глаза ещё молодо смотрели, хотя и в них та же усталость читалась. Невысокий, сухопарый, генерал целыми днями просиживал за огромным письменным столом, заваленным бумагами, читал донесения, писал что-то, летал карандаш, сжимаемый маленькой, аристократичной кистью, ставя краткие резолюции. А вокруг – иконы, хоругви… Поморщился Борис Васильевич. Всего десять минут пробыл он у нового Главнокомандующего, не желая отнимать его времени, а неприятное впечатление вынес. Когда боевой генерал начинает уповать на чудесное избавление и верить в высшую небесную миссию… Михаил Константинович придавал борьбе с большевизмом религиозный характер, в его воззваниях даже упоминался антихрист. Первым делом им были созданы добровольческие дружины «Святого креста» и «Зелёного знамени» (для мусульман), которыми руководил человек большой смелости и чистоты, профессор Болдырев, религиозно-патриотическое общество патриарха Гермогена и иные объединения подобного рода. Епископом Андреем Уфимским были сформированы Полки Иисуса и Богородицы. Солдаты этих полков были одеты в особую форму с изображением креста, впереди полков шли с пением молитв и хоругвями облачённые в ризы и стихари священники.

А адмиралу, примечал Кромин, по душе был этот мистицизм. Сам он, человек религиозный, всегда с большим вниманием относился к делам церковным. При его горячей под-

держке ещё раньше создавались проповеднические отряды под руководством главы ВВЦУ архиепископа Сильвестра Омского.

– Ослабла духовная сила солдат. Политические лозунги, идеи Учредительного собрания и неделимой России больше не действуют. Гораздо понятнее борьба за веру, а это может сделать только религия, – говорил Александр Васильевич.

Дитерихс и провозглашал борьбу за веру, священную войну. Своего рода, крестовый поход. Вся эта повышенная религиозность напоминала Борису Васильевичу приснопамятные дни последнего Царя. Тот тоже был первостатейный мистик вместе со всем своим окружением! Тоже витали в каких-то грёзах! И что вышло? А то, что ослепли совершенно от кадильного дыма, оторвались от земли, перестали понимать реальность и, как итог, потеряли всё и сгубили Россию. Нет, не доводит до добра религиозность, доведённая до фанатизма, до помешательства! Всему мера быть должна! Кромин не был атеистом, но и горячей веры в себе никогда не наблюдал, и всякого рода мистицизм казался ему чем-то странным, неумным и вредным для дела. Дело! – вот, что было главное. Для дел религиозных, слава Богу, есть церковь. Пусть и занимается! А правительству, а командующим надо дело делать: проводить реформы, налаживать порядок в тылу, снабжение армии! А не ждать Божией милости, обвешавшись иконами и хоругвями!

Тут-то и явился к Кромину член Экономического совещания Антон Юшин со своими предложениями. Случись это раньше, и Борис Васильевич не так был бы отзывчив. А тут на подготовленную почву семена попали. Боялся Кромин, что в кадильном дыму потонет реальность вновь, и уж тогда – никаких реформ, никакого дела не будет. Собрал всю волю в кулак и отправился в особняк Батюшкиных, где размещалась резиденция Верховного. Шёл, как на расстрел. Нет, хуже даже, потому что легче было бы Кромину под пулю встать, чем высказать в лицо адмиралу всё то, что он собирался. А и больше того жгло: а вправе ли высказать? Он, Кромин, вправе ли? Ведь это же он и другие мудрые вынудили Александра Васильевича принять власть, взвалили на благородного человека, человека, чья душа уже истерзана была всем пережитым, эту неподъёмную ношу со всей грязью её, не подумав, что бремя непосильным окажется. Сами же и виноваты во всём, а теперь ищут ответчиков…

Но всё-таки заставил себя Борис Васильевич переступить порог адмиральского кабинета. Колчак не сидел за столом, как это бывало обычно, а стоял у высоченного окна, согбенный, с потухшим взглядом, словно безразличный ко всему.

– Александр Васильевич, я подготовил доклад о мерах, необходимых для наведения порядка, – начал Кромин. – Нужно срочно действовать! Нужно начинать реформы… – он и докончить не успел, как адмирал резко обернулся, выпрямился, заговорил на повышенных тонах, срываясь на крик, плохо контролируя себя:

– Реформы?! Какие реформы?! Какие можно начинать реформы, когда враг приближается с каждым днём?! Я запрещаю вам поднимать этот вопрос! Никаких реформ! Никаких отставок! Все хотят быть министрами! Генералами! Главнокомандующими! Оставьте меня в покое! Оставьте!

Так сильна была эта вспышка гнева, что Борису Васильевичу не по себе стало. Поёжился, утратив и без того слабую решимость высказаться. А «шторм», между тем, утихал. Колчак опустился за стол, подпёр бледный лоб подрагивающей рукой, смотрел затравленным взглядом. После паузы сказал твёрдым голосом, за которым слышался, однако, подавленный стон:

– Вы хоть представляете, Борис Васильевич, каково сейчас наше положение?.. Нам, может быть, придётся оставить даже Омск.

О возможности оставления Омска поговаривали в последние недели. Ещё в первых числах августа старый ворон Будберг высказал эту мысль, заметив, что переезжать лучше

загодя, а не в атмосфере всеобщего пожара, но тогда она единодушно была признана недопустимой. А теперь, выходит?..

– Это мнение Дитерихса… – продолжал Колчак бесчувственным голосом. – А что значит – оставить Омск? Это же равно признанию поражения, это конец всему делу…

– Генерал Дитерихс может ошибаться…

Глаза адмирала оживились:

– Мне часто думается, что он не тот человек, который нужен. Если бы был Гайда…

– Гайда предал вас, Александр Васильевич. И всё дело.

Колчак болезненно поморщился:

– Может быть, его оклеветали нарочно… – он закурил папиросу и добавил. – Сколько бы я дал сейчас, чтобы быть простым генералом, а не Верховным правителем!

Разрывался Кромин. И всю правду высказать надо было, и что-то утешительное хотелось сказать. И что же важнее? Сидел подавленный, изредка поднимая глаза на Верховного. Нет, не диктатор это был, а мученик. Комок нервов. Человек без кожи. Окажись он теперь на корабле в бушующем море, к нему немедленно вернулась бы его энергия, и он повёл бы судно к спасительным берегам. А здесь, в Омске, стал адмирал – как рыба, на берег выброшенная. Как выводить из шторма корабль под названием «Россия» он не знал и мучительно погибал вместе с ним.

Всё же поговорить о делах удалось. Докурив папиросу, Колчак несколько успокоился, вернулся сам к прерванному разговору:

– Прошу извинить меня, Борис Васильевич, за мою резкость. Вы что-то говорили о реформах? Не трудитесь перечислять… Мне лучше, чем кому бы то ни было, известна тяжесть настоящего положения. Основной причиной неудовлетворённости внутреннего управления является беззаконная деятельность низших агентов власти, как военных, так и гражданских. Деятельность начальников уездной милиции, отрядов особого назначения представляет собой сплошное преступление. Всё это усугубляется деятельностью военных частей польских и чешских, ничего не признающих и стоящих вне всякого закона! Приходится иметь дело с глубоко развращённым контингентом служащих… Вы мне об этом доложить хотели?

Обезоружено стоял Кромин. А адмирал продолжал:

– Вы, может быть, думаете, что я сам не вижу, что происходит? Что я не понимаю необходимости преобразований? – привычно кромсал ножом ручку кресла. – Все ваши замыслы прекрасны и правильны, но кто их будет претворять в жизнь? Где вы возьмёте честных людей для этого? У нас нет возможности подчинить центральной власти атаманов, нет возможности менять министров… Потому что их некем заменить! Где вы предполагаете взять других министров, если людей нет? Поймите же, Борис Васильевич, дело не в законах, а в людях! Можно написать самые лучшие, самые нужные законы, но они ничего не дадут, потому что нет людей, которые могли бы их достойно воплощать. Мы строим из недоброкачественного материала. Всё гниёт. Я поражаюсь, до чего все испоганились! Что можно делать, если кругом либо воры, либо трусы, либо невежи?! Вы думаете, меня удовлетворяют наши министры, как деятели? Они живут канцелярским трудом! Ни талантов, ни инициативы, ни активности! Никто ничего не хочет делать, все боятся ответственности и ждут, когда сделает кто-то другой. Мы – рабы положения…

Нет, конечно, он не диктатор. А – раб положения. И все прочие – рабы. Но так что же, ничего и сделать нельзя?

– Александр Васильевич, но ведь так продолжаться не может. Нужно сокращать всю эту массу тыловых учреждений, проводить реорганизацию ведомств, всех способных носить оружие отправлять на фронт, а всех взяточников, воров и прочих вредителей – карать беспощадно! Как большевики это делают!

– Я согласен с вами. Но признаюсь, я безнадёжно отношусь ко всем этим реорганизациям. Тем более, сейчас. Вы военный человек и должны понимать, что, в конечном итоге, исход будет зависеть не от законов, а от боеспособности армии. Если армия будет побеждать, то законы не имеют большой важности. А в случае поражения они ничего не спасут.

– Законы для тыла нужны. А победа армии обеспечивается, в огромной степени, именно тылом. От его крепости, от порядка в нём зависит снабжение её, боеспособность её. Успехи армии сводятся именно тылом на «нет»! Если в тылу сохраниться разруха, то все жертвы на фронте напрасны окажутся!

– Вот этим и нужно заниматься, – сказал Александр Васильевич с раздражением. – Обеспечением армии! Меня сейчас волнует армия! Она всё решит! А законами пусть занимаются потом те, кто будет к этому призван. К тому же, простите, Борис Васильевич, что мне странно слушать от вас рассуждения об этих вопросах. Когда меня одолевают ими наши политики – это понятно. А вы? Вы сами хорошо представляете, какие должны быть законы?

– Наверное, недостаточно, – признался Кромин. – Но есть люди, которые в этом разбираются. А наши министры, вы сами сказали, серые бюрократы!

– Предлагаете назначить новых? – адмирал бросил нож на стол. – Не желаете ли сами возглавить какое-нибудь ведомство? Понимаете ли, какая загвоздка! У нас есть, быть может, некоторое количество специалистов, но ни одному из них я не могу доверять. С другой стороны, есть некоторое число людей, которым я доверяю. Вы, например. Но они не имеют необходимых профессиональных навыков. Вы, вот, Борис Васильевич, скажите по совести, видите себя на каком-либо ответственном посту?

Ну, Лебедев тоже профессионалом не был. И многие другие. Но Кромин возражать не стал. Не были, не были они профессионалами – вот, и результаты. А он легко рассуждал, наблюдая за всем с безобидной должности помощника. Хорош, в самом деле! Нужно дело делать, нужно дело делать – а сам-то много ли сделал? Приложил руку к ноябрьскому перевороту и теперь сам локти кусал? Большая заслуга! А принять на себя ответственную должность? Готов ли? А Александр Васильевич смотрел испытующе, не сводил чёрных глаз, от изнуряющей бессонницы ввалившихся. Неспроста спросил?

– Я принял бы любую должность, на которую угодно было бы вам определить меня.

– И могли бы ручаться за достойное исполнение её?

– Я все старания приложил бы …

– Так ведь другие тоже стараются! – Колчак помолчал. – Вся надежда моя теперь на Деникина. Нам бы только до октября продержаться… Тогда Деникин возьмёт Москву. Если Москва будет взята, то большевики бросят все силы на нас, и шансов отразить их вал у нас не останется. Раздавят. Но тогда это будет уже не так важно… Лишь бы Деникину удалось взять Москву! А реформы не ко времени сейчас. Я больше не желаю обсуждать этой темы. Можете так и сказать тем, кто, вероятно, обращается к вам на этот счёт. Что касается вас, то я подумаю, на что можно употребить ваши силы и способности. Вы человек честный, а это уже дорогого стоит. А сейчас идите, Борис Васильевич… Оставьте меня… – голос адмирала ослабел, и взор снова потух. Этот человек уже не ждал для себя ничего доброго, а только худшего, и это ясно читалась в его страдальческом лице.

После этого-то разговора отправился Кромин в Новониколаевск. И такая безнадёжность навалилась, что хоть головой в полынью! И самого себя проклинал в тысячный раз за страстишку к политиканству. Прежде всегда гордился он своей осведомлённостью в политике, тем, что всегда был отчасти вовлечён в неё в отличие от других офицеров. Политика всегда захватывала Бориса Васильевича, как игра. На всём Черноморском флоте мало можно было бы сыскать офицеров, столь хорошо разбиравшихся в партиях, движениях, течения, программах. У каждого человека есть своё увлечение. Увлечением Кромина была политика. И себя он считал втайне хорошим политиком, обладающим незаурядными способности. И

революция могла бы открыть для них простор (в первые дни эта мысль и тешила Кромина), но совсем не так всё вышло, как хотелось бы. А теперь вдруг подумал Борис Васильевич, что политик из него, пожалуй, ещё более незадачливый, чем министры-«временщики». Вровень с ними. Не в своё дело впутался каперанг – а теперь выплывай, как можешь! А выплывать – как? Да если бы одному… Корабль шёл ко дну, а адмирал продолжал стоять на капитанском мостике, и ясно было, что не покинет его до конца. Когда-то сокрушался Александр Васильевич, что его не было на борту любимого флагмана «Императрицы Марии», когда тот затонул. Сейчас «Императрицей Марией» была вся Россия. Подорванная подосланными врагом диверсантами, она горела и погружалась в пучину. И спасти её не было возможности. Только теперь Александр Васильевич был на борту. И Кромин не мог оставить своего адмирала и своего боевого поста. Значит, и ему суждено погибнуть. Что ж, и пенять не на кого. Если по глупости избрал неверный курс, то и не удивляйся, что угодил на мины, которые сам и расставил…

В таком настроении приехал Борис Васильевич в Новониколаевск. По пути к дому Юшиных постарался ободриться и напустить на себя обычный невозмутимый и благополучный вид. Но здесь не собирались дать ему отдыха. Здесь искали ответчика, и как раз на зубок Кромин попался. И так хотелось им крикнуть давешнее адмиральское, умоляющее: «Оставьте меня в покое! Оставьте!» Но держал в руках себя, сидел, как на иголках, выслушивал. А Тягаев лютовал, словно все-все просчёты решив разом припомнить, весь накопившийся гнев выплеснуть:

– …К лету в нашей армии сколько душ числилось? Восемьсот тысяч! А сколько в строю? Семьдесят! Где было всё остальное? Расползлось по штабам, тылам, обозам! Столько стало генералов, что уже полковнику впору в рядовые идти! Через четыре чина шагали! А раз генерал, то штаб подай! А как паразиты, как полипы наросли! А группе пятнадцать тысяч человек, меньше дивизии, а это обзывается отдельной армией, и её командующий из генералов-недорослей получает содержание главнокомандующего! Вы что, не знали об этом? Не понимали? Штабы и тыл пожрали армию! На семьдесят тысяч бойцов более полусотни штабов! А эту ораву ещё прокормить надо было! У нас солдаты в дырявых портах и кафтанах, в лаптях и босиком, а при штабах таскали обозы до тысячи повозок вместо пятидесяти четырёх! Не войска, а табор, орда какая-то! Вся работа вашей Ставки была одной сплошной авантюрой, Боря! Когда четыреста человек воюют, а семь тысяч отсиживаются в тыловых учреждениях и жируют за их спинами, это верный путь к поражению!

Кромин ничего не отвечал, царапал вилкой по тарелке, понимал, что другу просто выговориться надо, что от собственной боли больно и бьёт он.

– Верный путь к поражению, – подал голос Антон Евграфович, – это когда население не сочувствует армии.

– Ваша правда… Обольшевичился народ! – хмуро согласился Тягаев. – Невольно задумаешься, стоит ли спасать страну, если девяносто процентов её не желает спасения…

– Позвольте не согласиться с вами относительно народа, – это Алексей неожиданно включился в разговор. За время обеда он ни слова не проронил, сидел подле жены и хранил молчание. Трудно было понять даже, слушал ли. А, оказалось, слушал. Что-то сам скажет?

Не мастак был Алёша речи говорить да и слегка тушевался в присутствии более опытных, старших и летами и чином людей. Но разобрало. Может от вина выпитого отчасти. Както всколыхнулось разом в памяти: наступление, отступление, все эти бои бесконечные, все города и сёла, через которые шли… А, главное, люди. Солдаты, мужики деревенские – тот самый народ, за который его же кровью борьба велась.

– Народ не обольшевичился, Пётр Сергеевич. Народ просто устал. И не может понять ничего. Мы в одной деревне стояли, так мужичок, у которого мы жили, мне сказал: «Большевики? А чем они от вас отличные? Тоже приехали, тоже с ружьями, тоже в моём доме

жили, тоже лошадей отбирали!» Что хорошего видел мужик-сибиряк от власти? Поголовную мобилизацию всех мужчин? Реквизицию лошадей? Только в одном уезде их при отступлении до пяти тысяч взяли! И с повозками! Как простой мужик после этого должен относиться к власти? Вот и рассуждают, что пускай уж большевики будут!

– Дураки говорят! – вспыхнул Антон. – А ты повторяешь!

– А ты горлом не бери! Я две войны прошёл! Не тебе меня жизни учить!

Не ожидал брат такого отпора, умерил пыл:

– Я хотел только сказать, что так говорят те, кто не испробовал на своей шкуре большевизма.

– А генерал Гайда, чтоб ему… уверял Верховного, что сибирская армия прочнейшая из всех, что сибиряки все преданы делу! – покачал головой Кромин.

И что они знали все? Что знал Верховный, этот издёрганный человек, которого однажды видел Алёша на фронте? Приметил тогда, как адмирал, идя вдоль строя, как-то пристально и внимательно заглядывает в глаза солдатам, точно желая прочесть в них их настоящие мысли и чувства… Или просто поддержки искал себе, укрепы в своём многотрудном служении? Так и с Алёшей глазами встретился. Черны эти глаза были, неспокойны, под бровями сдвинутыми словно суровые, а в глубине добрые. И говорил Верховный просто, сердечно, понравилось солдатам. А что, в сущности, знал он об их положении? Что вся Ставка его знала? И этот помощник его с благоденствующим, безунывным видом сидящий – что знал?

Под Уфой зацепило Алёшу пулей. Несильно, даже домой об этом писать не стал, чтобы Надиньку не волновать попусту, а в госпитале полежал несколько. И там куда как много узнал и понял! Между ранеными белыми солдатами, оказывается, рознь царила! Сибиряки родные за большевиков агитировали, а волжане с уральцами готовы их за то были прямо в лазарете кулаками поучить. Они-то знали, что большевики несут, они жезл их железный на спине своей в полной мере познали. Это их деревни сожжены были, это их близкие убиты, это у них выгребали урожай до последнего семени и угоняли скот. Сибиряки ничего такого не ведали. Они знали лишь ужас войны. И хотели лишь одного – войны этой разорительной окончания. Замиряться хотели. Большевики будут? Ну, что ж, пожалуй пусть будут… Лишь бы не трогали нас! О! Не новая была эта песня! И волжане с уральцами хорошо знали слова её. В Семнадцатом и они многие с теми же чаяниями спешили с фронта в родные деревни. «Крути, Гаврила!» Пущай их баре бьются, а мы сами проживём, хоть чёрт с рогами пущай будет – лишь бы нас не бодал! Дорого поплатились за наивность свою, теперь уже знали, почём фунт лиха и ратовали за войну до конца, и объясняли сибирякам, пытались образумить, а те, нераскачиваемые, знай своё дудели: мира! Эх, дурачьё, дурачьё…

Конечно, хороши были и власти. Не умели ничего населению пояснить толком…

– В другой деревне не знали даже, кто такой Колчак. Спорили, из каких он, из англичан будет, или из немцев. Никак не желали верить, что русский. Одному деду битый час объяснял, кто такой Колчак, и из-за чего сыр-бор. А у него, бороды, сын в нашем полку служил! Спрашиваю, что ж ты, так-растак, родному отцу не пояснил ничего? А на кой ему! – отвечает. Да большая часть населения знать не знала, кто мы и что мы. И что большевики. А вы говорите – обольшевичились!

– Агитация у нас из рук вон организована, это точно, – согласился Антон. – Сколько раз я об этом говорил! Без толку!

Агитация… Зато плёткой хорошо агитировали… Послали как-то Алёшину роту подавлять мятеж в одной из деревень. Подавили, конечно. А потом приказ пришёл перепороть селян, чтоб неповадно было. И перепороли. Включая тех, кто против мятежа выступал. А офицер, который экзекуцией заведовал, видимое удовольствие от неё получал. Особливо, когда баб секли. Счастье, что другого полка он был, не пришлось больше встретиться!

Жестокость порождает жестокость, а насилие – насилие. Такого количества жестокости не видел Алёша в Великую. А эта – до такого зверства дошла, до такого ужаса раскалённого, что и не за обеденным столом в присутствии женщин и детей повторять. Самому вспомнить тяжко. В одном из сёл нашли двух своих пленников. С них живых содрали кожу и распяли на амбарных дверях. Первых же после этого взятых в плен красноармейцев, двоих же, обезручили и пустили истекающих кровью ползти к своим… А ведь видел Алёша их: простые парни русские… Такие же… Молили о пощаде, клялись, что не виноваты ни в чём. Их не слушали. Дела не было, виноваты или нет. Око за око. И неважно – кому мстить. И до сих пор перед глазами стояли те двое… Да не только они… Пленных коммунистов приказом Верховного расстреливали на месте. Много было их… Виток за витком накалялось зло, превосходило само себя. В одной деревне большевики травили пленных голодными свиньями, в другой местности захватили монастырь и монахинь после истязаний живьём закопали в землю. Лютовали китайцы и латыши – верная гвардия большевиков. И какую выдержку нужно было иметь, чтобы не отвечать той же монетой! Деревенские бунты больше не пришлось подавлять Алёше. Карательные экспедиции поручены были чехам. А это и ещё хуже было. Чехи карали куда безжалостнее. Им эти деревни, люди эти – чужды были. Чехи давно не воевали на фронте, откормленные и холёные, они теперь совершали «подвиги» в тылу. И как должно было воспринимать этих карателей население?

Когда отступление начало набирать обороты стали замечаться брожения среди солдат и возрастание активности большевистских агитаторов. Одного такого бойкого застал однажды Алёша в своей роте.

– Товарищи, ваши офицеры, царские палачи, ведут вас на убой! – энергично жестикулируя, вещал он обступившим его солдатам. – В первом же бою мы должны бросить оружие и перейти на сторону наших братьев, которые сражаются за нашу свободу, за счастье трудового народа!

Прервал поручик Юшин этот пламенный монолог:

– Складно звонишь, товарищ! А ну-ка поясни теперь людям, кого это ты называешь царскими палачами? Рабочих с Ижевского и Воткинского завода, которых их «братья» большевики разорили, а семьи которых уничтожили? Крестьян, у которых их «братья» выгребли всё до последнего зерна и оставили подыхать с голоду? Врёшь ты, шельма! А за враньё знаешь, что бывает?

– Ваше благородие, не марайте рук! Оставьте нам его – мы ему, сукиному сыну, покажем «братьев»! – раздались голоса.

– Отставить! Его военно-полевой суд судить будет!

До военно-полевого суда дело, однако же, не дошло. Агитатор был застрелен при попытке к бегству.

От всех этих нескончаемых отступлений и потоков проливаемой крови мутилось на душе. До того, что по вечерам стал Алёша попивать, чего никогда прежде с ним не случалось. Днём держался: чего стоит нетрезвый офицер в глазах своих солдат, какой подаёт пример? А по вечерам не мог совладать с собой. Так как будто легче делалось, не так тошно становилось на душе. Одну неделю, в которую как раз стояли в небольшом селении, переводя дух, зарядил уже отчаянно, а тут из дома письмо пришло: сын родился! Три раз перечёл, всё не верилось: его сын! Поспешил к командиру просить отпуск. С Рождества не бывал, так что полное право на отдых имел. Командир человек был, сразу в положение вошёл, целых две недели дал по случаю такой радости.

И покатил Алёша в Новониколаевск. И не катить, а лететь бы следовало на крыльях счастья, но не оставляла маята. Он вдруг отчётливо представил, как в случае дальнейшего отступления армии большевики придут в Омск, в Новониколевск, в родную деревню… И уже там начнётся весь тот кошмар, который видел он на Урале, о котором слышал от уральцев

и волжан. Холодело сердце. И впервые ясно и чётко понял Алёша, за что воюет лично он. Да за собственный же дом! Да за свою же семью! За мать с отцом, за сестру с племянниками. За Надиньку. За то неведомое, ещё не виденное продолжение себя – своего сына, беззащитного и только пришедшего в жизнь в огненное это время. Кому же ещё защищать их, как не ему? Вот оно, то единственное настоящее, ради чего стоит жить и умереть! Больше всего на свете желал Алёша мира, чтобы зажить ладом с женой, трудиться и растить детей, которых чем больше народится, тем лучше. Но ради мира нужно было воевать, нужно было победить большевиков. Он никогда прежде так не понимал этого, не чувствовал. Да только не поздно ли?..

Теперь, сидя за праздничным столом и слушая споры брата и тестя с адмиральским помощником, который Алёше сразу не понравился своим слишком спокойным видом, хотел поручик всем им высказать, объяснить своё наболевшее. А говорил, как назло, сумбурно, перескакивая. Плохо говорил. И сам чувствовал это. Не дал Бог ораторских способностей! Мысли вроде и ясны, а на словах ерунда выходит. Но окончил свои размазанные, как манная каша по тарелке, излияния, кажется, толково:

– Вы о чём угодно думали. О Великой России, о победе над большевизмом, о союзниках, а о малости одной позабыли! Вы о людях забыли! О человеке забыли! Что вот это всё, – развёл руками, – для людей делаться должно! Для человека! Потому что человек всегда важнее идеи! А вам до человека дела не было! На фронте человек гол, в деревнях тёмен настолько, что про вас же не знает ничего. У нас большая часть солдат – простые мужики. И они, оставленные интендантами наголе, вынуждены грабить своих же братьев-мужиков! Вот, и «обольшевичились»! И те, и другие! А если б заботились о людях, то никогда бы, никогда… – сбился, махнул рукой, выпил. Чувствовал Алёша, что лишнего перебрал нынче и перед Надинькой совестился. Решил, что больше ни рюмки не позволит себе сегодня.

– Тыл! – процедил тесть, приударив ребром ладони по столу. – Тыл наш многих обольшевичил! Достаточно раз в отпуску побывать…

– Генерал Дитерихс на днях очень верную мысль высказал, – сказал Антон. – Что наше Экономическое совещание только тогда будет полезно, когда будет состоять не из интеллигенции, а из крестьян. И правда! Если бы крестьяне в нашем совещании преобладали, то и нужды, и думы простых людей, земли стали бы слышны. И о человеке не забыли бы.

– Михаил Константинович – человек мудрый. Очень надеюсь, что он ещё сумеет привести в чувство наши скорбные дела, – произнёс Тягаев.

– Уж не думаешь ли ты, Петя, что крестоносцы-добровольцы и лес хоругвей сильно помогут вам на фронте? – пожал плечами Кромин. – Впрочем, я так и подозревал, что тебе по душе придётся вся эта мистика! Эта провозглашённая религиозная война… Средневековье какое-то!

– Ты, Боря, я вижу, не понимаешь сути борьбы. По-твоему, какова же она? Экономическая? Классовая? Политическая? Всё это и глупо, и мелко. Мы ведём войну духовную. И генерал Дитерихс совершенно прав, когда открыто заявляет об этом.

– И ты туда же! – вздохнул Кромин.

Сидевший во главе стола Акинфий Степанович, хмурый, суровый старик, не проронивший доселе не слово, кашлянул и заговорил своим надтреснутым, но твёрдым и густым голосом:

– Довольно споров, господа. Я не разбираюсь в военных вопросах и не знаю всех тонкостей политики, но я живу на свете седьмой десяток лет и кое-что видел и понимаю. Все беды происходят от того, что масса людей ничего не понимает и не ценит. И не только тёмный народ, на который вы, светлые головы, здесь ополчились. Я сам из этого тёмного народа вышел, я сам чёрная кость. И не нужно списывать на него все грехи. Много ли понимала и ценила интеллигенция? Образованное сословие? Баре? То-то же, что ничего не ценили!

Только ныли и жаловались! Тогда, когда «тёмный народ» работал в поте лица, хозяйствовал и не имел времени на жалобы! Смутили народ, верно. Но кто смутил? Образованные люди! И правду Алёшка сказал: о человеке позабыли. О мужиках, о крестьянах никто не думает. А к тому, скажу вам, Борис Васильевич, что слишком вы с вашими всероссийскими замыслами размахнулись.

– Помилуйте, да как же иначе?

– А так и иначе, что Сибирь знать и понимать след! Мужик-сибиряк прежде свою родную Сибирь любит, а после Россию. А вы о Сибири забыли. Вы вашими всероссийскими задачами задавили сибирский патриотизм, а он-то и есть душа сибиряка.

– Тебя бы, тятя, главой правительства поставить, – сказал Антон. – Твоя голова – всем головам голова!

– Стар я слишком. И не моё дело, – отрезал старик. – А скажу ещё, что, чем на политику месяцы гробить, надо хозяйствовать. Не в игрушки играть, а налаживать хозяйство. Оно – всему опора. А у нас сущее бедствие: языком мести готовы, указы писать, всем чем угодно заниматься, но только не хозяйствовать! Никто не умеет взяться, как след! И все мы живём так, словно происходящее нас напрямую не касается, каждый сам по себе и за себя… В деревне говорят: пущай Ленин с Колчаком меж собой разбираются, наше дело – сторона. У господ офицеров, в тылу обосновавшихся, просто невесть какие рассуждения. Политики разбиваются на партии и воюют друг с другом. Большинство безразлично ко всему, а безразличие большинства торит дорогу меньшинству, которое в итоге и властвует. Скажу по совести, был бы я в иных летах, то пошёл бы на фронт. Но я стар и для фронта негоден. Поэтому на нужды его передаю свои накопления.

– Тятя…

– А ты не обмирай, Антошка! Коли мы одолеем большевика, так ты с твоим умом ещё о-го-го поднимешься! А коли нет, так ведь всё одно лишимся всего. У тебя свой капиталец есть, ты ему хозяин, а своим дозволь уж мне самому распоряжаться. Я и прежде наших соколов не забывал, а теперь пущай уж всё, что пока ещё осталось при мне, на благое дело пойдёт. А вы, Борис Васильевич, пособите, чтобы не разворовали вещей, которые я для фронта закуплю. Знаю я тутошние нравы… А ещё обращусь с воззванием к состоятельному нашему сословию, к которому сам принадлежу, чтобы и оно не оставалось в стороне, следовало примеру. С Божией помощью вернём ещё всё, что утеряли за эти месяцы.

Слова Акинфия Степановича замирили всех собравшихся за столом. И к вящей радости Надиньки споры между дорогими ей людьми, наконец, окончились. И так хорошо было видеть их всех сразу! Хоть на несколько часов! Когда бы мама и бабушка ещё были здесь!

Алёшин рождественский отпуск подарил им обоим много незабываемых мгновений. Никогда так хорошо не было Наде, как в те зимние недели. Разве что в детстве. Несколько раз катались в санях, выезжали загород, а большую часть времени проводили наедине. И не существовало в эти часы войны с её ужасами, ничего и никого не существовало. Только они двое и были в этом мире. Двое, телом и душой одним ставшие.

А потом Алёша уехал на фронт. И снова потянулись дни тягостного ожидания. Снова каждый день надеялась Надинька получить дорогое письмо, а письма задерживались, приходили подчас три разом. И маялась, представляя Алёшу – там, на войне, среди этого ужаса, где вечно ненасытная смерть гуляет. Сжималось сердце страхом за него, а под ним уже совершалось великое таинство зарождения новой жизни. Маленький человек, её и Алёшин ребёнок, жил в ней отныне, и от этой мысли возносилась душа до облаков. Теперь никогда не будет она одна. Даже если не будет рядом самого Алёши, с ней всегда будет часть его, его ребёнок!

Первые месяцы беременности Надя продолжала работать в госпитале, а летом перебралась в Новониколаевск. В этот раз они очень сблизились с Маней. Она, мать четверых ребятишек, взяла над родственницей шефство. Теперь им было о чём поговорить. Маня с

увлечением рассказывала о своих детях, и Надинька мечтала, как станет воспитывать своего сына (она почему-то уверена была, что именно сын будет), как они станут жить все вместе, каким вырастет он… Беременность легко проходила, и роды тоже прошли без осложнений. И потому приехавшего с фронта мужа встречала Надя уже вполне оправившейся, цветущей. Ещё слаба немного была, но и только.

Алёша приехал с фронта не таким, как в прошлый раз. Сразу поняла это чутким сердцем. Старался весёлым быть, искренне радовался сыну, немного робко беря это крохотное чудо в свои большие, узловатые руки. И с Надей нежен был. Но чувствовала она, что что-то точило мужа изнутри. Увивалась вокруг, стараясь отогреть словом и лаской, но не отогревался, словно не весь вернулся к ней, а частью остался там, со своей ротой.

И отец такой же приехал. Пожалуй, и хуже того. Весь на нервах. Весь – как струна. Наполовину седой, постаревший. И тоже пытался тревогу и боль скрыть. Но у него это и вовсе не получалось. Никогда отец не умел чувств скрывать. Если Алёша был здесь и лишь частью там, то отец – весь там оставался, а здесь лишь толикой был. Наде казалось, что даже когда смотрит он на внука, то глаз его видит войну. Господи, да как же завладела ими эта страшная война!

У дяди Бори и Антона войны в глазах не было. Откуда и взяться ей? Антон на фронте никогда не бывал, а дядя Боря выезжал лишь вместе с адмиралом. Но и они беспокойны были. Даже дядя Боря, такой безмятежный всегда! И передавалась их тревога Мане. И Наде передавалась. Только, кажется, Акинфий Степанович, спокоен был. Он, бежавший из собственного дома! Смотрел внимательно, но из-под нависших косматых бровей, нахмуренных, глаз почти не видно было. Какая-то громадная сила была в этом старике, ещё и не седовласом даже (у отца, заметила Надя, седины и то больше). И все невольно робели перед ним, смирялись почтительно. Вот и теперь положил конец баталиям – спасибо ему!

Вечером прощались. Отец с дядей Борей одним поездом уезжали. Вышла Надинька проводить их, держа Петрушу на руках. Отец улыбнулся слабо, поцеловал внука:

– Береги его, Надя. Пусть его судьба счастливее нашей будет. Ради этого мы теперь и сражаемся… – привлёк к себе Надиньку, поцеловал и её, долго смотрел на неё, словно запоминая. – Вот, смотрю на тебя с ним, и понимаю, что всё-таки не зря я жизнь прожил, – помолчал ещё и, достав из кармана гимнастёрки, протянул ей одну из сибирских наград – крест с надписью «1918» и скрещёнными мечами: – Все мои награды в Петрограде остались. Бог знает, целы ли. Эта теперь единственное, что у меня есть. Возьми и передай Петруше, когда вырастит. Скажи, дедово наследство.

– Ты ещё и сам ему передашь! И всё расскажешь… – Надя прильнула к отцовскому плечу.

– Даст Бог, так и будет, – поспешно согласился он, точно извиняясь. – Это я – на всякий случай…

Расцеловались затем с дядей Борей.

– До встречи, красавица моя ненаглядная, – говорил он своим волнами играющим голосом, улыбаясь в усы. – Наших речей унылых не слушай! И к сердцу не принимай! Издержки фронтовой жизни, да-с.

Когда они ушли, Надя уложила Петрушу и, дождавшись, когда он уснул, подошла к Алёше. Он сидел на кровати, листал греческий словарь, но по тому, как быстро переворачивал страницы, нетрудно было догадаться, что они остаются непрочитанными.

– Я очень рад, что ты живёшь в семье брата, – сказал, закрыв книгу. – Антон – человек дельный, умный. С ним не пропадёшь.

Надя опустилась на колени и снизу вверх посмотрела в лицо мужу:

– Ты тоже считаешь, что они победят? Что нам придётся бежать?

– Я ничего не считаю.

– Не обманывай меня. Я же слышу, о чём Антон с Маней говорят. Они стараются об этом тишком говорить, чтобы меня не волновать, но я же не глухая! Я всё понимаю!

– Тем лучше, – Алёша легко поднял Надю, усадил к себе на колени, как ребёнка. – Я думаю, может, тебе лучше уехать? Во Владивосток?

– Куда уехать? Зачем? Одной? Как я буду жить там одна с Петрушей?

– Может быть, Маня поедет.

– Маня? Маня не поедет без Антона и отца. И не оставит дома, если только большевики не подойдут вплотную к Новониколаевску… Господи, неужели же это когда-нибудь случиться?! Как всё похоже на Киев… Неужели вы не можете их остановить? – Надя зажала рот руками. – Не слушай меня, Алёша! Я глупости болтаю…

– Мы сделаем всё, чтобы их остановить, родная моя. Чтобы тебя, чтобы вас защитить. Не бойся ничего.

– Я знаю, Алёша, я знаю. Я не боюсь… Ничего. Только потерять тебя. Если надо будет, я поеду во Владивосток, в Харбин – куда угодно. Только бы вместе с тобой! Только бы ты был рядом! Кажется, это судьба наша такая – бежать, бежать, бежать… Мы бежали через всю Россию: из Киева – сюда. Чтобы спастись от них. Теперь мы должны бежать отсюда… А Киев сейчас чей? Киев ведь – Деникина?

– Да, Надя. Деникин наступает. Говорят, скоро будет в Москве…

– Тогда всё нестрашно! – сразу посветлело на душе у Надиньки, целовала мужа в похудевшие, огрубелые щёки. – Тогда всё временно! Деникин возьмёт Москву, и они будут побеждены! А мы пока переможимся как-нибудь! Ведь правда?

– Правда, родная моя, конечно, правда, – тоже светлел лицом Алёша, отогревался. И почти прежний был.

Тут заплакал Петруша, и Надя метнулась к нему. В комнату Маня просунулась, шепнула, подойдя:

– Давай-ка мне покуда сокровище наше, – улыбнулась зверовато (была особенность такая в улыбке её), но ласково: – Твой-то только неделю здесь будет, помилуйтесь пока, понаглядитесь друг на друга, а за нашим птенчиком я догляжу. Спокойный он у тебя, не то что мои шалопуты были: те горланили день и ночь – спасу не было! – с этими словами она, похожая чем-то на большую, тёплую кошку, взяла Петрушу и, укачивая его, напевая глуховато деревенскую колыбельную, унесла.

Нет, всё-таки высшего счастья не дано природой женщине, нежели это: свой ребёнок, плоть от плоти. И сама бы Надя с удовольствием сейчас убаюкала его, но и права же была Маня: Алёшу с Рождества не видела, а через неделю ему опять на фронт, Бог знает, насколько – надо с ним побыть. Скорее бы уже закончилось это мучение! Скорее бы Деникин Москву взял! Тогда – прямиком туда! К бабушке Ольге Романовне. А там – и в Петроград. К маме. Совсем другая жизнь начнётся тогда! Счастливая!

Глава 5. Орлиная песня

16 октября 1919 года. Орёл

Орёл взяли Корниловцы, Курск – Марковцы. Широко и скоро шагал первый Добровольческий корпус генерала Кутепова! Этот корпус был возглавлен Александром Павловичем в конце апреля и являл собой красу и гордость Добровольческой армии. Бок о бок шагали чудо-богатыри четырёх полков, чтивших своих почивших вождей, неписанные традиции и отличавшихся друг от друга цветами мундиров: юноши гимназисты и юнкера Алексеевского полка в мундирах небесного цвета, чёрно-красные Корниловцы, Дроздовцы в малиновых фуражках, траурные Марковцы… Как символична их форма была! Чёрные мундиры, как траур по погибшей России, и белые фуражки, как надежда на её воскресенье. И чётки у многих. Это даже не полк был, а крестоносный орден со своими обетами.

Смерть не страшна, смерть не безобразна.

Она прекрасная дама, которой посвящено служение,

Которой должен быть достоин рыцарь,

И Марковцы достойны своей дамы…

Они умирают красиво…

Эти стихи написал бывший студент, эсер, а теперь командир батальона, капитан Большаков. Так и назывались они – «Рыцари смерти». «Те, что умирают красиво» – это определение прочно закрепилось за Марковцами…

Больше года прошло, прежде чем подполковник Арсентьев смог вернуться в родной полк. Его, с его полупарализованной ногой никак не хотели возвращать в ряды действующей армии, но Ростислав Андреевич настоял. Служба в контрразведке не удовлетворяла его. Он чувствовал свою неуместность и неумелость в чуждом для себя деле. Наконец, весной Арсентьев получил назначение в полк. И не в какой-нибудь штаб, а на передовую, командиром артиллерийской батареи. В ту пору Марковцы оперировали в южных областях России, с успехом продвигаясь вперёд.

В новой должности Арсентьев освоился быстро. Кроме задач военных, он сразу отметил нелёгкие взаимоотношения между армией и населением. Население боялось всех: и красных, и белых. В областях, где было распространено помещичье землевладение, мужики боялись, что им придётся возвращать барину землю со всем уже посеянным на ней. Генерал Тимановский крестьян успокоил, своей волей разрешив им снимать свой урожай, не обращая внимания на помещиков. Это, само собой, вызвало бешенство последних, грозивших жалобами командованию, что ни капли не встревожило «железного Степаныча».

Чем дальше шли, тем отчётливее примечал Ростислав Андреевич, что население, как не разбирало, что такое есть Добровольческая армия, так и не разбирает и остаётся совершенно бесчувственным к ней за исключением тех случаев, когда кто-нибудь из солдат посягал на крестьянское имущество. В одном селе целое разбирательство пришлось устроить из-за украденных двух кур.

Село зажиточным было. Кур, гусей и всякой скотины – изобилие. Помещиков – вовсе не видали. Красных успели повидать как будто. А отчего-то белым несильно обрадовались. Не успел подполковник в село въехать, так обступили его бабы (мужики заробели, видать) со всех сторон:

– Что же это деется, господин начальник? Житья никакого нам не стало!

– Да в чём же дело?

– Дак житья нет, ваше благородие! Пришли красные – грабили. Белые пришли – тоже грабят! Нет житья!

– Грабежи в Добровольческой армии караются смертной казнью, – заверил Арсентьев, мысленно сморщившись от неправды собственных слов: декларативно-то карали, рядовых, тех, кто проштрафился, карали, а кто когда покарал Шкуро или других командиров, превращавших свои части в разбойничьи ватаги?

Охнули:

– Да неужто смертью?

– Точно так! Сейчас я проведу расследование, и виновный получит по заслугам! – тронул поводья своей гнедой кобылицы-беломордки, с которой из-за больной ноги лишь изредка спешивался, велел срочно собрать всех солдат, бывших в селе, и, когда построились они, предложил бабе, голосившей, что у неё украли двух кур:

– Укажи, мать, который тут твой обидчик. Есть он среди этих молодцев?

– Есть, господин начальник…

– Так укажи, коли есть.

– И что вы с ним сделаете?

– Я же сказал – расстреляем.

– Тогда не покажу, – покачала головой баба. – За что ж у него жизнь отымать? Он ить молодой. У него, чай, мамка с отцом есть. А я его сгублю? Нет, прости ты, ваше благородие, а я греха на душу не возьму…

– Верно, верно! Нельзя эдак-то! – заголосили в толпе.

– Ну, хорошо-хорошо, – согласился Арсентьев, довольный таким сердобольством. – Расстреливать не будем. Но ты укажи нам этого разбойника. Он должен в назидание другим наказание понести. Понимаешь или нет?

– А что ж ты тогда с им сделаешь? – недоверчиво прищурилась баба.

– Велю полсотни шомполов всыпать, и будет с него.

– За что, господин начальник?! За каких-то кур?! Да пропади они пропадом! У меня их много! Хочешь, я тебе, батюшка, сама хоть пяток принесу? За что ж парня-то калечить? Чай, он оголодалый был! Нет, не надо. Ты меня прости великодушно, дуру, за глупость. Это я сгоряча всё.

– Добро, мать, – махнул рукой подполковник. – Я ему ничего не сделаю, только на перекрёстке под ружьё поставлю, чтобы все его видели, чтоб ему совестно было. Должно нам его усовестить или нет?

– Должно, батюшка, должно, – согласилась баба и, помявшись немного, всё-таки указала на своего супостата, который тотчас и получил причитающееся ему «позорное» наказание.

Крестьяне разошлись довольные, и поручик Родионов заметил:

– Всё-таки не совсем у нас народ обозлился. А то я, было, отчаялся. Кур, гусей здесь – сотни, а из-за двух такой скандал! Скажите, Ростислав Андреевич, а вы, действительно, расстреляли бы его? За этих несчастных двух кур?

– Поручик, дело не в курах и не в их числе. Дело в принципе. Население должно знать и видеть, что всякий проступок у нас жёстко карается. Хотя, не стану скрывать, я надеялся, в данном случае, на пробуждение совести.

– Это всё Галузин виноват, – понизив голос, сказал Родионов. – Это он подаёт дурной пример своим солдатам. Этот курокрад ведь из его батареи был.

С этим утверждением трудно было поспорить. Капитан Галузин не отличался высокими моральными принципами, и уже не раз Арсентьев имел с ним неприятные объяснения. Теперь предстояло ещё одно… Возвратившись в избу, в которой квартировал сам, Ростислав Андреевич приказал срочно найти Галузина. Евгений Яковлевич явился четверть часа спу-

стя, и подполковник сразу уловил винный дух, шедший от него. Стрелял капитан глазом, и сильно стрелял. И лицо его, не лишённое красоты, неприятно было. Качнулся от двери, пригладил давно немытые волосы, отдал честь, шаркнув тяжёлым английским ботинком – «танком»:

– Капитан Галузин по вашему приказанию…

– Отставить! – грозно прикрикнул Арсентьев. – Я, кажется, уже неоднократно предупреждал вас, капитан, что не намерен терпеть до бесконечности ваши выходки! Мы наказываем солдат за воровство и недостойное поведение, а вы, офицер, слоняетесь у них на виду в нетрезвом виде, поощряете их дурные наклонности! Сколько раз я говорил, что имущество населения неприкосновенно! Мы не казачья вольница, капитан! Не Шкуро! Не батька Махно! Мы Офицерский полк, и я не позволю вам марать это славное имя!

Евгений Яковлевич усмехнулся:

– В чём вы меня обвиняете, господин подполковник? В том, что я смотрю сквозь пальцы на то, что мои солдаты иногда пользуются имуществом населения? Чёрт возьми! Мы спасаем это население от большевиков, а оно жалеет для нас двух куриц! Если бы оно давало само, никаких эксцессов не было бы! Но его душит жадность, а у жадных голодным не грех и поживиться!

– Вот что, господин капитан, – Ростислав Андреевич прихлопнул набалдашником трости по ладони, – если я уличу вас в грабеже населения, то вы будете расстреляны. И ваших боевых заслуг принимать во внимание я не стану.

– А приговор вы лично в исполнение приведёте? – глаза Галузина сузились. – Вам же не впервой! Мне до вас ещё расти и расти! Я, может, картёжник и пьяница, но не палач! Я в безоружных не стрелял!

– Я буду требовать вашего отстранения от командования батарей, капитан, – ледяным тоном ответил Арсентьев. – Вы свободны!

Даже чести не отдал, усмехнулся криво и пошёл вон. Хороший был артиллерист Галузин – глаз-алмаз. За то и терпели его. Но всему предел есть. Таких, как Галузин, подполковник ненавидел не меньше, чем большевиков. Они своими грязными руками марали белые ризы Добровольческой армии, сквернили святой идеал. Подмечал Ростислав Андреевич, что даже в лице галузинском есть что-то схожее с коммунистами. Этих, последних, всегда безошибочно угадывал Арсентьев. Ему не нужно было отыскивать партбилета в складках одежды, а довольно было взглянуть на лицо. Таких лиц прежде не было ни у русских солдат, ни у русских офицеров. Ни у крестьян. Ни у рабочих. Просто не было таких лиц. На них вдруг проступила смесь наглости, подлости, подобострастия и вседозволенности – что-то совершенно скотское. Как будто чёрное пятно проступило – и не ошибёшься. Но чернота эта в редких случаях начинала являться и среди своих. Вот, Галузин, например. Угасшие лица, как отражение угасшего духа. Духовная проказа, перекидывающаяся от больных на здоровых. И чем дальше внедрялись в советский лепрозорий, тем больший риск был – заразиться…

– Ростислав Андреевич, откуда только в наших рядах Галузины берутся? – уныло спросил Родионов, входя.

– Когда львы идут на добычу, то за ними всегда увязываются шакалы, – ответил Арсентьев. – Что у вас, Леонид Анатольевич?

– Крестьяне там собрались опять.

– Что ещё? Разве дело о краденых курах ещё не исчерпано? – удивился Арсентьев.

– Ещё как исчерпано! – Родионов улыбнулся. – Теперь бабы нашего курятника жалеют, ходят мимо, норовят угостить!

– Чёрт возьми!

– Давно так не смеялся!

– Балаган и только… Так что ж им надо?

– Просят разъяснить им, что такое Белая армия, и куда мы идём.

– Час от часу нелегче! – нахмурился Ростислав Андреевич.

– Как прикажете поступить?

– Скажите, пусть соберутся через три часа. Поговорим.

– Слушаюсь!

– И ещё соберите офицеров… И доктора. Посовещаемся, что говорить. Галузина не звать, разумеется.

– Будет исполнено, господин подполковник!

Поручик Родионов был ещё совсем юноша. Ему едва перевалило за двадцать. Юнкер Михайловского артиллерийского училища, он не успел окончить его, оказавшись вовлечённым в водоворот русской смуты. С виду казался Лёня ещё моложе своих лет. Тонкий, хрупкий юнец, почти мальчик, как виделось Арсентьеву с высоты своих лет, с нежным, очень интеллигентным лицом – над губой едва-едва светлый пух пробивался, а глаза блестели радостно. Ему бы по виду в самый раз в Алексеевский. А, вот – Марковец! И – настоящий Марковец! Ловок был Лёня, расторопен и силён, несмотря на внешнюю хрупкость. И много боёв было за его плечами. И главное, о чём гордо говорил терновый венец с мечом, поблёскивающий на груди – Ледяной поход! А, в общем, не очень-то справедлив был Ростислав Андреевич, полагая, что Лёне Алексеевский полк больше подходил. Всё старыми категориями мыслил, когда двадцатилетний поручик большой невидалью был. А тридцатилетний генерал? Не бывало таких! А теперь, вот, командующий Марковским полком – генерал Тимановский. И у кого бы язык повернулся сказать, что ему, опытнейшему и отважнейшему офицеру, изрешечённому ранами на фронтах Великой, а теперь и этой проклятой войне, чин этот не по летам! Для Лёни «железный Степаныч» был кумиром, и не было большей мечты у поручика, нежели «быть таким, как Тимановский!»

Возвратился. А за ним другие подтянулись. Среди них – Тоня, спутница верная. Попытался было настоять, чтобы осталась она в Ростове, доказывал, что война – не женское дело. Без толку. Ответила, что ничего больше не умеет. Так в лазарет бы? Не захотела. И смирился подполковник. Видать, поздно уже прапорщику Тоне жизнь менять. Ей её гимнастёрка, шинелишка и сапоги кирзовые навсегда роднее, чем платье, туфли, платок милосердой сестры. Так её отец, старый вояка, воспитал. Жалел Арсентьев Тоню и всякий раз совестился, встречая её покорный, как у доброй лошади, взгляд. В этом взгляде столько было преданности ему, столько тихого чувства, не требующего ничего и ни на что не надеющегося. Не отстранял её, но и не приближал, чтобы надежды не подать, держался тепло, но и строго, грани не переступая. А она понятлива была, принимала всё.

– Господа офицеры, полагаю, поручик Родионов уже оповестил вас о предмете нашего совещания, поэтому без лишних предисловий попрошу высказываться.

– По-моему, господин полковник, не наше это дело заниматься разъяснениями. Мы армия, а армия вне политики.

– Мы вне политики, когда речь идёт о политике ВСЮР. Но когда речь о коммунистах, то мы не можем быть вне политики. За что же мы тогда воюем?

– Если нас спрашивают, мы должны отвечать! Мы сами должны говорить, даже если не спрашивают! Если мы боремся за освобождение народа, то должны ему это объяснять! – горячо сказал Лёня.

– Господа, я прошу вас ближе к цели! Не отвечать мы не можем. Но нужно чётко сформулировать, что именно отвечать.

А что, собственно, было отвечать? Не осваговскими же штампами народ пугать. Ещё во дни Ледяного похода негодовал Арсентьев на неумение офицеров грамотно объяснить казакам суть борьбы. И казалось тогда, что, спросили бы его, и уж он бы сформулировал!

А не так просто оказалось… Не о своей же судьбе искалеченной говорить мужикам… И не о Царе, о котором наверху молчали страха ради либерального. Нужно говорить о том, что важно им. А что им важно?

– Нужно объяснить крестьянам, что все обещания большевиков – ложь!

– Отлично! А они тебя спросят: а чего вы, баре, нам обещаете? И? Что мы им пообещаем? Чай, мы не Троцкие, чтобы обещаниями разбрасываться!

– Нужно им сказать, что мы защищаем интересы трудолюбивых, сильных крестьян, а большевики – лентяев и пьяниц.

– Разъяснить, что Маркс всегда ненавидел крестьян…

– К чёрту Маркса! Кто бы из них понимал, что такое Маркс вкупе с Энгельсом! Да и мы в этом ни ухом, ни рылом, положа руку на сердце. Понятнее надо, понятнее! Чтоб к сердцу ложилось!

– Тоня, что вы скажете?

Замялась Тоня, боясь что-нибудь не то сказать. Вокруг сплошь люди образованные стояли, и она чувствовала себя между ними неловко.

– Здесь люди хорошо живут. Им только спокою не хватает. Уверенности в завтрашнем дне. Так и пояснить, что мы им это несём.

– Нет, господа, так мы далеко не уедем, – Арсентьев нервно крутил в руках свою массивную трость. – Мы совершили большую ошибку. Вся армия. И уже давно. Отстранившись от политики, мы стали проигрывать этот фронт большевикам. Их комиссары всегда готовы популярно и с огоньком растолковать суть их борьбы. Неважно, насколько лживо. А нас подобные вопросы застают врасплох. Жизнь сама ставит перед нами политические вопросы, и мы обязаны отвечать на них. Мы все свято веруем в нашу Белую идею. Но в чём она состоит? Мы должны мочь выразить её, понять сами и донести до других. Мы должны твёрдо знать, за что боремся. Не вообще, а предметно, применимо к любой области жизни. И против чего боремся. То есть, что есть большевизм. Опять же предметно.

– Боюсь, Ростислав Андреевич, что такую махину за час нам не одолеть, – заметил доктор Бенинг, пожилой, флегматичный военврач. – Мой старший брат в своё время увлекался хождениями в народ. Они пытались объяснить крестьянам, что борются за их счастье. Мужики частенько бежали от них, как от чумных.

– От большевиков не побежали…

– Разумеется. Потому что народники были идеалистами, а большевики – прагматики. Мы тоже идеалисты…

Ну и дела! Сражались и гибли за Белую идею, а выразить её не умели, словно немчины! Впору за голову было хвататься.

– Белая идея – это идея свободной жизни в освобождённой стране… – неуверенно произнёс Родионов.

– Неплохо, поручик, – одобрил Арсентьев, – но мало. Мало…

Бесплодно прошли три часа, и явившийся староста доложил, что крестьяне собрались и ждут. Ростислав Андреевич со вздохом скомкал исчирканный лист бумаги и, тяжело оседая на трость, отправился на встречу с массами.

Собрались на площади у церкви. Кажется, вся деревня пришла: от ветхих старцев до младенцев, которых притащили с собой бабы. Будто бы не подполковник Арсентьев держал речь перед ними, а сам генерал Деникин. Ростислав Андреевич одиноко возвышался в седле перед замершим в ожидании его слов народом. Никогда прежде не приходилось говорить ему речей. А тут – изволь! Да без подготовки! Да перед мужиками! А ведь от его речи зависело теперь, поверят ли эти полторы сотни человек белому делу… А ещё каким словом обратиться? При нынешней чехарде? «Граждане» – казённо. «Друзья» – слишком демократически. Ах, вот, пожалуй…

– Соотечественники! Я не являюсь политиком или агитатором. А простой армейский офицер, прошедший две войны, а потому говорить с вами буду просто и откровенно. Начну с того, что скажу прямо: я не считаю вас бедными. Я не видел в вашем районе ни одного бедняка. Скажите честно, вы сами можете, не погрешив против совести, назвать себя бедными?

Мычали нечленораздельно, соглашались, что, в общем, прав господин офицер: не голодуют у них.

– Я понимаю, что всегда чего-то не хватает, всегда хочется чего-то ещё. Но нынешнее ваше благосостояние вас удовлетворяет, не так ли? Стало быть, первая и главная цель – защитить его, сохранить, чтобы затем и приумножить таким же честным трудом, как и прежде.

– Верно! Верно!

– Что для этого нужно? Порядок! Вспомните Тринадцатый год! Не тогда ли богатели вы? Не тогда ли покрывали крыши железом? Не тогда ли приобретали и копили блага для детей и внуков? Не тогда ли жили в мире, взаимной любви и благоденствии?

– Было такое, ваше благородие! Хорошее времечко было!

– Это было при Царе. Но не стало Царя, и пришли самозванцы, которые внесли сумятицу, разлад и страх. Теперь никто не может поручиться за свой завтрашний день, никто не может быть уверен, что плоды труда его не будут отняты. В этом повинны большевики, которым необходим беспорядок для укрепления личной власти. Коммунисты презирают крестьян, как людей второго сорта. Отнимают урожай, угоняют скот. Для них не существует никакого права. В том числе права на собственность, на землю, на плоды своих рук. Они говорят о справедливости, но что это за справедливость, которая начинает с того, что насилует, грабит и убивает? Мы уже вспомнили Тринадцатый год. То золотое время возможно возвратить, если будет установлен прочный порядок, обеспечивающий законность, свободу труда и неприкосновенности жизни и имущества всякого трудящегося человека. Во имя этого мы и сражаемся. Именно этот порядок несёт Белая армия! Теперь вы можете спрашивать меня обо всём, что вас волнует, я постараюсь ответить… – по реакции людей видел Арсентьев, что слова его достигали цели. Слушали внимательно, утвердительно кивали головами. Да и сам Ростислав Андреевич чувствовал, что говорил хорошо, вдохновенно. Вот, только о чём станут спрашивать? Подобрался весь внутренне. На вопросы-то ещё меньше готов был он отвечать…

Но не пришлось отвечать практически. Вопросов мало было, а больше рассказывали люди о наболевшем, подтверждая правду слов подполковника и о светлых днях довоенных, и о бесчинствах красных.

– Они не только скотину, они и хлопцев наших угнали!

И завыли бабы в голос.

– Когда б мы раньше знали, что такое Белая армия, то наши бы хлопцы не ушли с ими!

– Ваше благородие, а, может, вам провиант требуется, али ещё что? Вы скажите – мы пособим!

Вот так победа была! Покрупнее военных! Вот, так и разговаривать с народом! Без страха! Откровенно!

После двух часов разговора Арсентьев возвратился к себе. Ожидали его Тоня, Родионов и доктор, штудирующий том Эдгара По. Остальные офицеры разошлись по своим частям.

– Как, господин подполковник? – вытянулся поручик, глядя нетерпеливо.

– Отлично! – ответил Ростислав Андреевич, устало опускаясь на стул. – Не ожидал от себя таких агитаторских способностей!

– Об Учредительном собрании спрашивали?

– Поручик, кому нужно ваше Учредительное собрание! А, вот, когда я говорил о Царе, то встретил полное сочувствие и понимание! Я всегда уверен был, что наш народ – монархист. И лозунг о возрождении монархии должен был украшать наше знамя.

– Не переоценивайте сознательность масс, – сказал Бенинг. – Лозунги большевиков они встречают с равным сочувствием.

– Но не лозунг об Учредительном собрании! Мы не разговариваем с массами, и это плохо отражается на нашем деле.

– Простите, Ростислав Андреевич, но я не склонен рассчитывать на сознательность масс. Что есть массы? Хоры. И только. Массы не обязаны понимать, разделять, участвовать… Для этого есть узкая группа, знающих и понимающих. Мы. И мы должны направлять массы.

– Ваши суждения, дорогой доктор, отдают большевизмом, – заметил Лёня.

– Однако, доктор, если даже встать на вашу точку зрения, то нельзя отрицать необходимости работы с массами. Иначе как их направлять? Огнём и мечом? Мы не только должны сформулировать для себя сущность Белой идеи, но стать живым воплощением её. Примером. Массы должны видеть отражение её в сильной и мудрой власти, в честных исполнителях её воли. Наш моральный облик должен быть достоин нашей идеи.

– Скажите это Галузину, – хмыкнул Бенинг.

– Галузин будет уволен, я этого добьюсь. Я не позволю больше этому шакалу разлагать мне солдат.

– А с остальными Галузиными что вы делать будете? С теми, что высокие посты занимают? И где взять сильную и мудрую власть? Антерну, я не вижу ни силы, ни мудрости в её действиях.

– Увидите, доктор, когда до Москвы дойдём, – беззаботно бросил Лёня.

Арсентьев промолчал, понимая, что в суждениях Бенинга немало справедливого.

С момента своего первого выступления перед крестьянами Ростислав Андреевич стал больше прислушиваться к настроениям селян освобождаемых областей, чаще разговаривать с ними. По мере продвижения вглубь России настроения эти становились всё более враждебны большевикам. Здесь уже не спрашивали, что такое Белая армия, здесь слишком знали, что такое армия Красная. И прорывалось не раз накопившееся чувство:

– Уничтожить надо большевиков! Чтобы совсем они сгинули! Не нужна нам эта советская власть. Была бы власть, которая дала бы свободу жить, как мы раньше жили.

Если крестьяне встречали Добровольцев с радостью, то интеллигенция колебалась. Она занята была мыслями о личном устройстве. И, как-то устроившись при большевиках, не очень радовалась белым. Даже среди священников оказывалось немало подобных приспособленцев. В одном селе, желая проверить местного попа на вшивость, постучали к нему:

– Батюшка, укрой! Нас красные преследуют!

– Изыдите! Вы братскую кровь проливаете, озлобляете людей и нарушаете мирную жизнь!

Ах ты собака в рясе… Не тебя большевички на вратах родного храма распяли, не тебя живым в могилу зарыли…

А в том же селе крестьянка пожилая:

– Родненькие, у меня в подполе двое ваших скрываются! Ранетые! Когда красные напали, я их укрыла. Сынки, позовите доктора! Я нашего не кликнула, потому что он большевик.

Область за областью освобождали, а отчего-то с каждым днём тяжелее на душе становилось у Арсентьева. Он уже реже общался с крестьянами, сторонился их, хотя все они кастили большевиков и рассуждали здраво. Но Ростислав Андреевич – не верил. Это были крестьяне уже родной его полосы. Крестьяне, которых знал он с детства. Такие же, какие

жили в имении отца… Жили, делили скорби и радости, праздновали праздники, а потом убили, разграбили и сожгли дом… А если – и эти?.. Своих мыслей не высказывал Арсентьев вслух, но тяжким камнем лежали они на сердце. Эти крестьяне были его народом, за свободу и счастье которого он сражался. А он не верил им. Не мог простить. И нестерпимо мучила эта раздвоенность.

Зато по мере приближения к Курску всё радостнее становился поручик Родионов. В Курске жила его семья: родители и три сестры, девицы на выданье.

– Ах, Ростислав Андреевич, я непременно, непременно вас с ними познакомлю! Вы же не откажетесь сделать нам честь?

Что ж, пожалуй…

– Вот, увидите, как мои обрадуются вам!

Давно никто не радовался…

– Отец всю жизнь проработал в почтовом ведомстве. Тишайший, интеллигентнейший человек. А мама… Мама – удивительная! Даже не знаю, как сказать… Если в лютый мороз укутаться в тёплую, пушистую шубу, понимаете ощущение? Вот, мама моя такая и есть. И сёстры… Да вы сами увидите их, Ростислав Андреевич! Они очень славные, правда!

Как невинен, как чист ещё был этот мальчик-поручик. Он видел войну, но она не опалила его души, не угасила сияющих звёзд в глазах, не огрубила, не ожесточила черт. Должно быть, и сёстры его, и родители были похожи на него. Хорошая русская семья, которую лишь бы смута эта не разметала…

Курск взяли с налёту и без приказа. Точнее, наперекор приказу. Когда план взятия «красной крепости», об укреплениях которой ходили легенды, разрабатывался в штабе первой дивизии приехал Кутепов и, схватившись за голову, категорически запретил атаку:

– Ждите прихода тяжёлой артиллерии! Без неё об атаке курских укреплений и не думайте!

Запретил и уехал. А генерал Тимановский, немного поразмыслив и докурив очередную трубку, заявил:

– Александр Павлович, конечно, прав. Но чёрт знает, сколько ждать этой артиллерии. Побеждают, как говаривал незабвенный Сергей Леонидович, не числом, а умением. И духом. О духе защитников Курска я не высокого мнения. Уверен, мои Марковцы и Корниловцы легко с ними справятся. Я даже доволен, что атака будет проведена без ведома Кутепова. По крайней мере, времени её не будет знать и его начаштаба… – начальнику штаба корпуса Достовалову Николай Степанович не доверял и всячески старался избегать сношений с ним. – Итак, Курск будем брать! Под мою ответственность!

Вот это было по-марковски! Вот это бодрило!

Аккурат первого сентября выступили и через неделю боёв овладели «красной крепостью». Его защитники, мобилизованные красноармейцы, не проявили упорства в отстаивании города. Большинство из них были крестьянами южных губерний, и теперь они рады были вернуться домой. Эти возвращенцы устремились в тыл и буквально забили шоссе, ведущее в Курск. Их была целая армия, а город взят был горсточкой Добровольцев. Верно оценил обстановку «железный Степаныч»! Впрочем, прибывший Кутепов, не переносивший самоволия и нарушения своих приказаний, всё же немедленно сделал Тимановскому выговор, но тем и уладилось, ибо победителей, как известно, не судят.

Освободителей встречали с неподдельным восторгом. Люди, запрудившие дотоле пустынные улицы, целовались и поздравляли друг друга со слезами на глазах. Марширующие части забрасывали цветами.

В целом же, Курск производил впечатление мрачное. Полумёртвый город, притихший в страхе и скорби. Дома были сплошь облуплены, в царапинах, в серых подтёках от содранных вывесок. Один квартал выгорел дотла, и местные жители пугливым шёпотом поясняли:

– Здесь была ЧК. Перед уходом чекисты облили здание керосином и подожгли. Сгорел весь квартал…

В этих чёрных развалинах находили обугленные человеческие кости.

Неподалёку от этого страшного места Арсентьев заметил смутно знакомую фигуру. Этот горбоносый профиль и огненную копну волос он не мог забыть. Окликнул:

– Полина!

Полина обернулась. На этот раз одета она была очень просто, чтобы не выделяться из толпы. Черты лица её, осунувшегося и постаревшего за это время, ещё более заострились, огрубели, но всё ещё сохраняли прежнюю своеобразную красоту.

– Ростислав Андреевич? Не ожидала встреть вас здесь.

– Тем более, не ожидал вас встретить я. Откуда вы здесь, Полина?

– Я здесь уже дольше месяца. По заданию контрразведки, – закурила нервно. И не было при ней обычного мундштука. Курила дешёвые папиросы.

– Вот оно что…

– Нас было трое, – низкий голос Полины стал ещё ниже. До хрипоты. – Двое, – кивнула на пепелище, – здесь…

– Здесь сильно было подполье?

– Куда там! Буржуа прятались по домам, господа офицеры заглушали тоску кокаином. Здесь, кажется, через одного – кокаинисты…

Арсентьев присмотрелся к Полине. Должно быть, и сама она этим зельем не брезговала. Говорила бесстрастно, смотрела мимо подполковника.

– А мы здесь месяц работали… Аркадий Варламович, Денисов и я. Аркадий Варламович всю жизнь в этом городе прожил, работал в архиве. Он такой старый был, и я удивлялась, как же он решился. Он же у нас главным был. Такой мудрый, такой отважный человек… И Денисов хороший был. Из офицеров. Числился в Красной армии, а, на самом деле, служил России, копировал все планы, какие попадались ему, и передавал Аркадию Варламовичу. А я – через линию фронта – нашим… Знаете, Ростислав Андреевич, сколько мы всего успели! – вроде бы заплакать самое время было этой странной женщине, а она ни слезинки не проронила, только истончившиеся, увядшие губы подрагивали. – А потом они узнали про Денисова. А выследили. Их обоих пытали здесь. Знаете, что делают с людьми в ЧК? Что с женщинами делают? Они не выдали меня… Ни этот старик, никогда не ведавший войны, ни Денисов…

– Вы нуждаетесь в отдыхе, Полина.

– Я ни в чём не нуждаюсь, – зеленоватые глаза вспыхнули. – Тем более, в отдыхе. Раньше я хотела отомстить лишь за одного человека. А теперь счёт увеличился.

– Куда же вы теперь?

– В Москву, Ростислав Андреевич. Там я тоже буду прежде вашего.

– Вы туда по собственному почину или по заданию?

– Разумеется, по заданию. Курск был лишь промежуточным звеном. А конечная цель – Москва. Мне нужно кое с кем встретиться там…

– Как же вы доберётесь до Москвы? Вас же задержат…

– Контрразведка задержала видную большевичку Евгению Гербер. Она оказалась довольно похожа на меня. Теперь у меня её документы, её легенда… Не задержат, Ростислав Андреевич! – Полина усмехнулась. – Меня теперь хоть в самый Кремль пропустят!

Арсентьев вздрогнул:

– Так вы не отказались?

– От чего?

– От вашей безумной идеи убить кого-нибудь из них?

Полина не ответила:

– Мне пора идти, господин подполковник. Простите.

– Полина, не делайте этого. Это ничего не изменит, разве вы не понимаете? За ваш выстрел страшную цену заплатят тысячи неповинных людей!

Но не слышала словно… Из небольшого саквояжа достала маленький букет свежих цветов, положила на пепелище, поклонилась низко и, проходя мимо Арсентьева, обронила лишь:

– Прощайте, Ростислав Андреевич. Мы с вами больше не увидимся, – и скользнула тонкой, долгой тенью по пустынной улице вдоль обшарпанных, потемневших стен уцелевших домов.

А ведь наверняка не знали в контрразведке о безумных планах, таившихся в голове этой несчастной женщины. Если бы знали, не послали бы никогда… А если вдруг удастся ей?..

Не успел Арсентьев подумать-представить, что тогда будет. Послышался стук копыт, и следом звонкий голос Родионова:

– Ростислав Андреевич, вот вы где! А я вас ищу!

Весь сиял Лёня, ёрзал в седле. Он хоть, в отличие от подполковника на ноги не жаловался, а предпочитал верховую езду пешей ходьбе. Он и в атаку верхом летел, хотя так опаснее было – слишком выделялся среди пеших частей. Но хотелось поручику покрасоваться. Была такая слабость у него. Знал он, что в седле прекрасно держится и выглядит молодцевато. Спешившись – хуже. Щупловат и росточком не вышел. Да и бравировал тем, что красных пуль не боится. Как генерал Тимановский. Последний, впрочем, в атаки пешим ходил, несмотря на хромоту. Шёл впереди частей, опираясь на палку, не выпуская трубки изо рта. Таким и запомнился со времён Ледяного. Но в этом Родионов отчего-то генералу не подражал.

– Ростислав Андреевич, я только что от моих! Живы и здоровы! – выдохнул радостное.

Ну, слава Богу! Хоть у кого-то все живы и здоровы. Искренне рад был Арсентьев за поручика.

– Так вы будете к нам? Завтра? К ужину? Отец и мама, и сёстры: мы все вас покорнейше приглашаем!

Не очень-то хотелось Ростиславу Андреевичу идти на этот семейный ужин. Не расположен был к этим тихим посиделкам. Мутилось на душе. Но и не отказать же хорошим людям! Для поручиковой ранимой натуры большая обида будет. Жаль было омрачать его радость.

– Благодарен вам, Леонид Анатольевич, за приглашение! Я непременно буду.

Следующий вечер Арсентьев провёл в тёплом кругу семейства Родионовых. Лёня не преувеличивал: все они оказались милейшими людьми. И Анатолий Трофимович, и его супруга, Арина Анфимьевна, и их дочери, Варвара, Лариса и Ксения. Несмотря на всё пережитое при советской власти, Родионовы сохранили завидное расположение духа. И квартира их, заметно пострадавшая от обысков и вынужденной распродажи имущества, сохраняла тепло и уют. За столом, и это было ново, намеренно не говорили о текущей обстановке. Лишь однажды Анатолий Трофимович попытался было обратиться к ней, но Арина Анфимьевна тактично остановила мужа:

– Нет ничего вреднее, нежели говорить о политике за столом. Вы, Анатолий Трофимович, расскажите лучше что-нибудь весёлое.

Отношениями этих пожилых людей можно было залюбоваться: столько искреннего, не притупленного годами чувства, столько предупредительности и нежности было в них. Анатолий Трофимович был десятью годами старше жены. Это был сухопарый старик, с интеллигентным лицом. Голова его была гладкой, как биллиардный шар, белая, аккуратно подстриженная бородка обрамляла подбородок и скулы. Глаза, смотревшие из-под стёкол пенсне, казались несколько усталыми. Эту породистость и интеллигентность Лёня всецело унасле-

довал от отца, переняв от матери сияющие звёзды-глаза и её живость, лёгкость, льющуюся звонкую речь. Арина Анфимьевна была из породы тех женщин, рядом с которыми хочется находиться всегда, так как в них заключён громадный запас тепла, щедро расходуемый ими на всякого оказывающегося рядом. И точен был поручик, когда уподобил свою мать тёплой, мягкой шубе. Волна тепла шла от этой бойкой, весёлой женщины, накрывая и обласкивая каждого.

И Арсентьева встретила она, словно родного. И дела не было ей до чинов его, до командной должности. Она не сыновнего начальника, а человека встречала. И вся семья отнеслась к нему так, будто бы сто лет знакомы были, будто бы всем им он страшно дорог был. Наверное, похожим образом встречали в доме Ростовых Денисова…

Чудесные были люди. Чудесный был вечер. Чудесный дом. И давным-давно не выдавалось подобных часов, так похожих на канувшую безвозвратно жизнь. А Ростиславу Андреевичу плохо было. Чем радостнее и приветливее были Родионовы, тем острее чувствовал он, как не подходит он к ним. Не к ним! К жизни светлой и хорошей! Жгуче проснулась в Арсентьеве дремавшая в окопах боль. Вспомнился родной дом. Тихие осенние вечера, проводимые с отцом и Алей… Какой мукой всколыхнулось всё это, утраченное, осквернённое, уничтоженное! Если б мог знать сердечный поручик Родионов, какие страдания переживает подполковник… А он ведь как лучше хотел, хотел доставить ему удовольствие… И, чтобы не огорчать сердечных людей, силился Арсентьев улыбаться, отвечать что-то, не обижать хозяйку небрежением к её угощению (а кусок в горло не лез), а сам считал минуты до того заветного часа, когда можно было бы откланяться. Добрые люди часто не могут взять в толк, какую муку причиняют своей добротой…

Чтобы перевести дух вышел на балкон покурить. А следом неожиданно Ксения выскользнула, младшая из трёх девиц. Двумя годами старше была она своего брата, очень похожа на него. Точнее, на отца. Ещё больше, чем Лёня. Из трёх сестёр Ксения не самой красивой была. Но было в ней обаяние, которого красота не могла бы дать. Оно рождалось от безмятежности её лица, от мягкости глаз и улыбки. Тишина была в ней, ровность.

– Простите, Ростислав Андреевич, я вам не помешала?

– Ничуть, как вы могли подумать…

– Наверное, всё-таки помешала. Вам ведь очень в тягость этот вечер, правда? И вы торопитесь уйти?

Неужто так явственно было… Нехорошо вышло…

– Почему вы так решили?

– Я почувствовала. Нет, вы не беспокойтесь, другие не заметили. Вы были так любезны с маменькой. Для неё большая радость, что вы пришли. Она очень любит гостей, а, пока были большевики, никто ни к кому не ходил, все попрятались. Страшно было. Я вас поблагодарить вышла.

– За что?

– За то, что пришли, за то, что не подали виду, что вам это тяжело.

– Всё-таки почему вы сделали такой вывод?

– Потому что я весь вечер на вас смотрела.

Не заметил, надо же…

– Они разговаривали, а я смотрела. А если на человека долго смотреть, то многое можно понять, – Ксения говорила вкрадчиво, куталась в длинную, светлую кашемировую шаль.

– И что же вы увидели?

– Боль. Такую сильную, что у меня сердце сжалось. Я подумала, что, если бы, как в сказке, мне позволено было загадать три желания, то одним из них было бы, чтобы боль ваша исцелилась.

– Спасибо вам, Ксения Анатольевна, – тепло сказал Арсентьев, тронутый этим порывом доброй души.

– Вы не мучайтесь дольше. Скажите маменьке, что дела службы требуют вашего присутствия. Она не обидится.

Ростислав Андреевич слегка пожал кончики пальцев Ксении, оказавшиеся ледяными:

– Благодарю вас! Вернёмся в комнату. Вы слишком легко одеты, простудитесь.

По возвращении в комнату Арсентьев объявил, что вынужден покинуть гостеприимный дом Родионовых по делам службы. Лёня вызвался сопровождать подполковника, но Ростислав Андреевич остановил его, видя, что поручик едва держится на ногах из-за обилия поднятых тостов.

– Оставайтесь, поручик, оставайтесь! Тем более, что в полк вам надлежит вернуться лишь через день. Я даю вам увольнительную, чтобы побыть с семьёй.

– Премного благодарен, господин подполковник!

Тепло простившись с Родионовыми, в особенности, с Ариной Анфимьевной, Арсентьев с облегчением покинул их дом, пробудивший в нём невольно столько болезненных воспоминаний. Ксения вызвалась проводить его до дверей парадной. Там она протянула ему большую белую хризантему:

– Вчера на улицах воинов-освободителей встречали цветами… Вы примите этот цветок от меня.

Ростислав Андреевич с благодарностью принял неожиданный дар, сунул в петлицу:

– Вот так. У них – красные гвоздики. А у нас – белые хризантемы. Сердечно благодарю вас, Ксюшенька.

– Красный – цвет крови и пламени. Белый – цвет чистоты, цвет наших храмов, ангельских риз, снега, подвенечных платьев… Всего невинного, всего светлого… И часто беззащитного… Знаете, какими мы беззащитными стали теперь? Перед всем. Перед большевиками. Перед голодом. Перед болезнями. Перед тем, что те, кого мы любим, могут быть навсегда похищены у нас. А разве может быть что-то страшнее на свете? Даже простая разлука – это маленькая смерть. А если навечно? И никак защититься нельзя!

Ксения поёжилась, не то от холода, не то от страха. Что-то понимала эта юная, хрупкая девушка. Тоненькая, как тростинка. С глазами, не похожими на глаза её матери, из-за затаённой печали. Почему такие глаза у неё? Какую утрату она оплакивает? И не потому ли угадала настроение чужого ей подполковника, что и сама в схожем была?

– Мы сделаем всё, чтобы защитить вас…

– Не надо, Ростислав Андреевич, – Ксения покачала головой. – От судьбы нельзя защитить. От Его, – посмотрела на небо, – воли нельзя защитить. И не нужно… И спрашивать Его не нужно. Знаете, какой самый глупый вопрос, который можно задать Богу?

– Какой же?

– «За что?» Это неправильный вопрос. А правильный – «Зачем?» Если Бог посылает скорбь, то не за что-то, а для чего-то. А всё, что делает Бог, имеет одну цель – наше благо. Значит не для чего-то, а для блага нашего. И мы поймём его, если только не впадём в грех отчаяния и не отступимся, не помешаем сами Богу привести нас ко благу. Помните евангелийского слепого? Христа спрашивали, за что Бог его покарал. А Он ответил, что ни за что не карал его Бог, но нужно было это, чтобы Его слава умножилась…

Не мог разобрать Ростислав Андреевич: то ли в сердце его читала эта юная барышня, то ли своё сердце раскрывала. А только от её слов, от мерной, вкрадчивой речи притуплялась боль. И сам от себя не ждал порыва:

– А разрешите вы мне, Ксения Анатольевна, как-нибудь написать вам?

– Конечно, Ростислав Андреевич. Я буду очень рада и обязательно отвечу.

А он бы и без этого обязательства написал. Вдруг подумалось, что совсем некому писать ему. Ни единого родного человека во всём свете. И благодарен был сердцу отзывчивому. Всю мучительность этого вечера сгладила Ксения. И уже не жалел Арсентьев, что пришёл. Ради одного разговора этого с душой родственной стоило прийти.

В расположение батареи возвратился подполковник утешенный, а первым человеком, которого встретил, Тоня была. Улыбнулась чуть, сразу притушив улыбку, соблюдая установленную между ними дистанцию:

– Добрый ночи, Ростислав Андреевич. Хорошо ли вы вечер провели?

– Неплохо. Очень хорошая русская семья. У Леонида Анатольевича замечательные родители.

– И сёстры, – вырвалось у Тони.

– Да, и сёстры, – невозмутимо согласился Арсентьев. – Очень хорошие люди. В следующий раз, Тоня, я возьму вас с собой.

– Спасибо, Ростислав Андреевич, но я не пойду.

– Отчего так?

– Там люди образованные, интеллигентные. А я что? Сама стесняться буду и других стеснять своей невоспитанностью.

– Глупости вы говорите, Тоня. Уж кому-кому, а вам себя стесняться нечего.

– Полно вам, Ростислав Андреевич. Вы уж лучше без меня, – вздохнула Тоня.

И опять совестно было перед ней. Ничего не обещал ей, ничего не мог дать. Но… Эта женщина несколько месяцев ходила за ним, как нежнейшая мать, как заботливейшая сестра, выхаживала, помогала делать первые шаги, была единственной опорой, надёжной и верной, самым преданным другом. И искренне привязан был к ней подполковник. Как к другу. Мало было людей на земле, к кому бы он ещё привязан был. Но знал ещё, что она, прапорщик Тоня, ничуть не похожая на амазонок, женщин-воительниц, но лицом и фигурой – ни дать, ни взять – солдат, совсем другие чувства испытывает к нему. Знает всю безнадёжность их, таит в себе, не выказывая. А в иные моменты казалось Арсентьеву, что не удержится, уступит влечению – и тогда бы не избежать тяжёлого объяснения. Но Тоня удерживалась, видимо, и сама боясь такого объяснения. Так в умолчаниях и тянулись их отношения уже дольше года…

У Родионовых Ростислав Андреевич больше не бывал. Но Ксению видел мельком, когда, выступая из города, части шли мимо её дома. Она стояла на балконе, махала белым платком. А позади – сёстры, мать и отец. Провожали сына…

С Курщины двигались к Орлу. Замирало сердце по временам. Ступить на землю родной орловщины… Увидеть жуткое пепелище отчего дома и могильные кресты над дорогим прахом… И лица крестьян, которые совершили это каиново дело, крестьян, с которыми мальчишкой играл в казаки-разбойники… Неужели выдержит душа?

Тянулись скучной вереницей русские сёла, куда более бедные и унылые, чем южные. Крестьяне озлобленно говорили о большевиках, иные вступали в ряды армии. Но, в общем, пополнений мало было, и это тревожило. Курск почти не дал людей. Тамошние офицеры, отравленные дурманом кокаина и алкоголя, не ведали традиций Добровольцев, были чужды их духу и могли вносить лишь растление в их ряды. Чем дальше продвигались вглубь России, тем ядовитее делался воздух, тем тяжелее было противостоять ему.

Шли, как водится, с боями. После одного из них привелось наблюдать мерзкую сцену: на дороге лежал убитый красноармеец, которому отменный удар шашки снёс полчерепа, неподалёку валялась и фуражка его, подбежавший мужик радостно схватил её, выкинул на землю бывшие в ней мозги и тотчас надел себе на голову, при этом по лбу потекла струйка крови…

– Мерзавец! – вырвалось у Родионова, сбледнувшего с лица от этого зрелища и приложившего ладонь ко рту, словно его тошнило. – В ногайки бы его!

– Вот-с вам народ-богоносец, – хмыкнул Бенинг, ехавший рядом на одной из подвод.

– Ну, не стоит, доктор, одним паразитом весь народ мерить, – не согласился Лёня.

– Если бы паразит был один, мы бы не варились в этом кровавом месиве третий год подряд!

Единственной отрадой стали для Арсентьева письма Ксении. Она писала ему даже чаще, чем он ей. И были её письма умны и глубоки, чего сложно было ждать от юной барышни. Писал и Ростислав Андреевич. Поначалу с трудом: отвык от писем, да и не окружающую же грязь было описывать! А потом легче пошло, делился многими мыслями. Как-то во время стоянки к подполковнику заглянул Родионов. По смущённому виду поручика Арсентьев угадал, что тот имеет к нему какой-то не совсем обычный разговор.

– Что вам, Леонид Анатольевич?

– Простите, Ростислав Андреевич… Разрешите вопрос?

– Слушаю вас.

– Вы ведь переписываетесь с моей сестрой, да? – пылали нежные щёки Лёни, неудобно ему спрашивать было.

– Да, а вам это не нравится?

– Нет, нет… Что вы… Вы же знаете, Ростислав Андреевич, как я вас уважаю. Вы для меня…

– Оставим славословия.

– Как скажете. Просто я хотел спросить, насколько серьёзно вы относитесь к ней. Всё-таки она мне сестра.

– Леонид Анатольевич, я очень уважаю вашу сестру, как мудрую, щедрую и чистую душу. Я понимаю ваши опасения и даю вам слово, что никогда и ничем не оскорблю и не обижу Ксении Анатольевны.

– Спасибо вам, Ростислав Андреевич, – расцвёл поручик. – Вы меня успокоили! Нет, я и не сомневался, вы не подумайте! Просто я очень люблю Ксюшу. Мы с ней всегда были особенно близки. Поэтому…

Объяснение было прервано явившимся капитаном Ромашовым. Виктор Аверьянович только что прибыл из отпуска и с тем предстал пред ясные очи командира. Ромашов был самым красивым офицером батареи. Былинный молодец – кровь с молоком! Любо-дорого посмотреть. Сила и здоровье, ни единой пулей за две войны не попорченное, через край хлестало. От женщин этому красавцу, само собой, не было отбоя. Да и он никогда не против был утешить своим присутствием какую-нибудь сдобную вдовушку.

– Рад вас видеть, Виктор Аверьянович! – Арсентьев поднялся навстречу. – Ну, что тыл?

– Да, что там, в тылу? – подхватил Родионов. – У нас часть за частью отнимают для борьбы с каким-то Махно! Неужели никак нельзя самим справиться с какой-то шайкой разбойников? Или в тылу людей не осталось, способных носить оружие?

– Действительно, режут нас по живому. И без того нам людей не хватает так, что воюем чудом. И умением. По-марковски. А от нас ещё требуют части на этого бандита! Только что шесть полков на внутренний фронт вытребовали, а чем прикажут Москву брать?

– Рассказывайте, господин капитан! Что там?

Виктор Аверьянович важно расположился на стуле, закинув ногу на ногу, и на вопрос Родионова ответил одним единственным непристойным словом, которыми мастак был жонглировать.

– А подробнее? – осведомился подполковник.

– Работает вовсю тыл, – фыркнул Ромашов. – Одни сидят в канцеляриях и стучат на машинках не хуже, чем мы на пулемётах. Другие спасают Россию за чашечкой кофе! Рестораны и улицы гудят народом, а взять в руки винтовку – это, видите ли, некому! У каждой сволочи в кармане белый билет или свидетельство о том, что он незаменимый специалист

по спасению России! Ну, и спекулируют, конечно, чем только можно… – и ещё одно веское слово употребил, обозначив им всех засевших в тылу.

– Куда же Деникин глядит со своими боярами? – ахнул Лёня.

– Гнать надо в… три шеи этих бояр! На старых дрожжах теста не поднимешь. А Деникин, как старый кот, который спит, когда мыши пляшут у него под носом.

– Помилуйте, Виктор Аверьянович, да что это вы! Нельзя же так! Ведь армия побеждает! Ещё немного – и мы будем в Москве!

– В самом деле, господин капитан. Обсуждение командующего – не дело армии. Мне понятны ваши чувства, но прошу не высказывать таких мыслей при подчинённых, – сказал Арсентьев.

– Я-то не выскажу. Да только скоро они сами нам эти мысли высказывать станут, помяните моё слово.

Нехорошо, нехорошо было всё, что Ромашов рассказывал. Если уже этого жизнелюба тревога взяла, значит, неладное что-то творится. Да Ростислав Андреевич и сам видел. Старых кадров всё меньше оставалось в Добровольческой армии. Их места занимали красноармейцы, присылаемые из тыла в качестве пополнений. Мало того, какого нутра были эти пополнения, так ещё же полураздетые! Ни обуви, ни шинелей! Стребуй потом с них корректного отношения к пленным и мирному населению! Сам ещё в Курске требовал у одной интендантской крысы сапог:

– Того гляди, снег начнётся, и как, по-вашему, мои люди будут работать при орудиях?!

А дела не было сему мерворождённому – как. Не его дело. Чах, как кощей, над своими складами…

И пошлёпали на босу ногу по раскислой осенней грязи, под проливными дождями зарядившими, прямясь перед ледяным ветром, сгибавшим в дугу оголённые деревья и игравшим, точно мячами, перекатиполе среди помертвевших равнин. И враг не так страшен был! Враг меньше жизней отнимет, чем пневмония и тиф…

Даже крестьяне замечали беженское положение освободителей, жалели, предлагали помочь вещами. И блазно было согласиться, но отказывались, жалея, в свою очередь, крестьян. Бог знает, какая судьба станется, а прознают комиссары, что крестьяне помогали Добровольцам – несдобровать им. Всё ж таки потихоньку приносили: кто сапоги, кто валенки, кто тулуп – как погорельцам.

– Что же это вы отказываетесь, родненькие? Да ведь измёрзнете все!

– Ничего! Мы, Марковцы, непромокаемые и непромерзаемые! – отвечали с бравадой, а у самих зуб на зуб не попадал от холода.

Шли, тонули в серой беспросветной мгле и, вот, вышли к Орлу. И взяли его первого октября, но тут-то и пошла Настя по напастям, тут-то и застопорились…

Уже три дня шли бои у реки Оки, южнее Орла. И всё тяжелее виделось положение Арсентьеву. Здесь Добровольцам противостояла отборная Латышская дивизия в десять тысяч штыков и три тысячи сабель, подкреплённая кавалерийскими частями. О латышах говорили пленные:

– Без них бы мы давно отскочили за Москву.

Да и мы бы в Москве уже были давно, если бы казаки Мамонтова во время своего знаменитого рейда, дойдя до Тамбова, шли бы дальше и били красных, а не занялись грабежом. Вернулись с обозами добычи! Герои! Да их не славить за это надо было, а под трибунал отдать! Такой шанс упустили… Втуне не жаловал Ростислав Андреевич казаков, подозревая, что они по сей день живут духом Стеньки Разина. Вот и ярко проявлялось. К настоящему служению не годились они. Сиюминутное для них затмевало главное. Мамонтов ярчайшим примером стал: для него быстрая добыча затмила Москву и победу.

С утра выехал Арсентьев с Родионовым на позиции. Били неумолчно орудия, из которых несколько новых было, англичанами присланных. Накануне первый батальон был отброшен латышами, потеряв до четверти своего состава, а сегодня перешёл в наступление, но уже видно было: захлёбывался. Теснили его латыши. А Ростислав Андреевич знал уже, из штаба просочился слушок: Орёл думают оставлять. Нету сил держать его. Временно? По тактическим соображениям? Чтобы иметь свободу манёвра? Непонятно. Взять город и оставить его через три дня? Ах, поехать бы в штаб самому! Зрела у Арсентьева идея толковая: ночь не спал – обмозговывал. Поехать и лично Кутепову, товарищу старому, доложить. Да как батарею оставить в тяжёлом бою? И быть с ней – долг. И доложить, пока не стало поздно – долг. И какой главнее?

– Ростислав Андреевич, смотрите! Отступаем! Ростислав Андреевич, отступаем! – воскликнул Лёня, приподнявшись в седле.

Точно. Отходили опять, аккурат до места вчерашнего боя дойдя и успев забрать убитых, отходили под ударами латышей. Неладно.

– Надо их остановить! Надо остановить! – волновался поручик, гарцуя на своей Белянке.

Остановишь их теперь, куда там! Прежде в таких случаях лично Сергей Леонидович останавливал дрогнувшие цепи и увлекал их за собой, своим примером. А теперь кому?

Поздно увидел подполковник, как Родионов пришпорил коня и, выскочив из укрытия, где они хоронились от огня противника, помчался в самую гущу боя, к отступающей цепи. Только услышал высокий, от волнения совсем мальчишеским ставший, голос, кричавший отчаянно:

– Стойте! Слушать мою команду! Вперёд! Вперёд! За Россию! Ура!

– Поручик Родионов, назад!

Но не услышал уже среди гула и упоённый мгновением. Каким героем сейчас должен был ощущать себя этот восторженный юноша, мчавшийся на верную смерть, чтобы увлечь за собой в атаку солдат! Какой прекрасной мишенью была его белая лошадь в сером месиве смешавшихся цепей. Он летел, разрезая её, гордо выпрямленный. Шашка наголо… Он, должно быть, кричал что-то отходившим цепям, но не слышно было. Вот, уже впереди них оказался поручик. И кое-кто даже последовал за ним, но большинство продолжали откатываться. Бах! Взрыл неприятельский снаряд чёрную землю, и перевернулась белая лошадь, грохнувшись всем корпусом в грязь. А всадника подбросило вверх и, через голову её, швырнуло размашисто о землю. Из шедших за ним несколько тотчас бросились назад, опамятовавшись. А двое подхватили убитого и понесли, поволокли, рискуя собой, чтобы не оставить мёртвого товарища на глумления врагам…

Лёню Родионова хоронили вечером. Он лежал на земле такой хрупкий и маленький, а лицо его оставалось восторженным, счастливым.

– Бедный, бедный… Он такой хороший был, такой добрый… – тихо всхлипывала Тоня, гладя убитого по русым волосам. По её долгому лицу катились слёзы, катились – и так не вязались с этим лицом, с нею. – Такой славный был мальчик…

Не мог и Арсентьев сдержать слёз. Он смотрел на белое лицо поручика, но видел не только его. Но и другое, так на него похожее. Что-то будет с ней, когда узнает? «Не спрашивайте, за что, спрашивайте, зачем. И отвечайте – ко благу нашему»… Неужели и это сможет, как благо, принять? И возблагодарить Бога? Может быть, и сможет. А мать её? Сёстры? Долго щадило горе семью Родионовых и, вот, пришло. К беззащитным. Отняло единственного сына и брата. А Ростиславу Андреевичу – эту скорбную весть ещё и сообщить предстоит. И не просто, как командиру полка, что проще бы было, но – как другу. Сообщить, что не уберёг их Лёню, не удержал от безумного шага. Смотрел в бинокль, как он гибнет, и ничего не мог сделать.

Простившись с поручиком, Арсентьев всё же отправился в штаб. Он уверен был, что никого не разбудит, явившись ночью. Во всяком случае, Александра Павловича точно не разбудит. И верно рассчитал. Кутепов уже которую ночь глаз не смыкал. Сидел, склонясь над заваленным картами и донесениями столом – как всегда, подтянутый, в безупречном мундире, гладко выбритый. А лицо боевитое хмуро было. Арсентьева встретил генерал, не чинясь, как старого друга:

– Рад видеть тебя, Ростислав Андреевич! – и к делу сразу. – Садись, рассказывай, с чем пришёл.

Арсентьев сел, вытянув параличную ногу.

– Александр Павлович, верно ли говорят, что Орёл будет оставлен?

– Его взятие было ошибкой, – Кутепов прихлопнул себя ладонью по мясистой шее. – Я говорил, что нельзя Орёл брать. Что взять его – не штука, но тогда мой фронт выдвинется вперёд, как сахарная головка. И тогда противник лишит нас маневра и станет бить по флангам. Будённый с одной стороны. Латыши – с другой. А мне приказали – взять!

– Но наши войска ещё держатся. Дроздовцы даже одерживают победы… Я слышал, что наша кавалерия сосредотачивается против Будённого?

– Чёрт знает, когда она сосредоточится! Ты не всё знаешь, Ростислав Андреевич. Сегодня конница Будённого нанесла удар в стык нашей армии с Донцами, взяла у них Воронеж и вышла нам в тыл.

Вот это так новость была! Не удержались шкуринцы в Воронеже, драпанули, значит! Правильно, не могут растленные грабежами и гульбой части стойко противостоять неприятелю. Но это значит…

– Фронт прорван?

Тонкий, как ниточка, растянутый на три версты, ослабленный тыловыми беспорядками и оттяжкой большого количества людей на внутренний фронт против Махно и Петлюры – он держался чудом, а у чудес есть предел…

– Да, и поэтому нам придётся оставить Орёл, – откликнулся Кутепов.

Арсентьев нервно закрутил в руках трость. Оставить Орёл – немыслимо. Нет, конечно, можно оставить на время, перегруппироваться и вернуться, но… Что-то подсказывало, что этого делать не нужно.

– Александр Павлович, позволишь мне высказать моё мнение?

– Изволь, конечно.

– Орёл оставлять не нужно. Нужно, прежде всего, всем штабам приказать покинуть вагоны. Все обозы и раненых срочно отправить в тыл – они для армии, как вериги. Затем собрать все наши полки в кулак и навалиться на Латышскую дивизию. Она уже довольно потрёпана и не выдержит такого удара. Все прочие советские части нам не страшны. А потом, не задерживаясь, идти маршем на Москву. На пути мы встретим лишь мобилизованных, а они воюют плохо и не смогут нас остановить. Мы возьмём Москву, и это станет сильнейшим деморализующим ударом для Красной армии. Все карты большевиков будут спутаны! А это уже половина победы!

– А что же делать с конницей Будённого? – чёрные пытливые глаза неотрывно смотрели на подполковника.

– Ничего. Она будет громить наши тылы, разумеется. Но им это только на пользу пойдёт. Возьмутся за винтовки… В конечном итоге, Будённого постигнет участь Мамонтова. Его остановят свои же обозы, непомерно разбухшие от награбленного добра.

– План твой, Ростислав Андреевич, смел и не лишён смысла, – задумчиво произнёс Кутепов, разглаживая жёсткие усы. – Но Ставка никогда не согласится на него.

– И пусть! – воскликнул Арсентьев. – Ставку надо лишь предупредить, а затем порвать с нею все провода!

Александр Павлович покачал головой:

– Ты не просто смельчак, ты революционер. Нарушить указания Ставки, действовать по собственному разумению… Ростислав Андреевич, мы же не атаманы!

– Победителей не судят!

– Зато судят побеждённых! Ты представляешь, каких собак на меня станут вешать в случае неудачи! Да это просто… трибунал!

– В случае неудачи нас просто не будет в живых, а мёртвые сраму не имут. Зато при удаче…

– Довольно! – Александр Павлович поднялся. – План твой, возможно, неплох, но на конфликт со Ставкой я не пойду. Я офицер и привык чётко выполнять приказы, равно как и привык, чтобы мои приказы выполнялись. Если каждый командующий начнёт оперировать в соответствии с собственной стратегией, то какая это, к чёрту, будет армия?

Нет, не получилось убедить. Отважный, честный и грамотный генерал, Кутепов был солдатом. Он не мог переступить через дисциплину, которая была для него богом. Он следовал ей даже в мелочи, а Арсентьев пытался склонить его к крупному нарушению – изначально провальная затея была. На такой план мог бы пойти человек с авантюрной жилкой, но у Александра Павловича её, кажется, не было. Честолюбие? Вероятно, не чуждо было оно генералу, но не в такой степени сильно, чтобы заставить забыть об уставе и долге. Он сделает всё, что возможно, но в рамках приказа. А приказ был – отступать…

– Завтра мы оставляем Орёл, Ростислав Андреевич.

И пяти дней не продержались… Впору прощальную песню петь. Не лебединую. Орлиную песню! Какую и спел сегодня поручик Лёня Родионов, летя, как ветер, через поле боя на верную смерть – за Россию!

Глава 6. Понужай!

14-15 ноября 1919 года. Позади Омска

Тихая эта выдалась ночь. Но тихая зловеще. И ясное, унизанное звёздным бисером небо могло бы показаться спокойным и мирным, если бы не страшное зарево на западе. Багряные, как кровь, всполохи рвались к небу, а вокруг тёмные клубы дыма смешивались с тёмно-алыми отблесками пламени… Это не закат был. Это – горел Омск. И окровавленное небо казалось пропитано кровью всех погибших на грешной земле, убранной погребальным саваном снегов.

– Большевики стреляли по всему городу, а теперь подожгли его со всех сторон!

– Откуда знаешь?

– Я в последний момент утёк. Ещё войска не было, большевики местные вовсю уже разъезжали. Белые мост взорвали, а большевики с другой стороны пожаловали.

Загрохотало на западе. Чаще, чаще.

– Пороховые погреба загорелись…

– К чему ж теперь вернёмся? К руинам?

Столбы дыма уходили в небо, унося с собой чьи-то бессмертные души. И казалось, словно бы из-за этого зарева, из пылающего города слышны чьи-то предсмертные крики, стоны…

А Петруша? Где-то он теперь?

Два месяца миновало с их последней встречи. А встреча такой мимолётной была! Приехал Пётр Сергеевич с фронта по делам на считанные дни и на день ещё уехал к дочери. Одна только ночь, даже не ночь, а обрывок её остался им. Но и он не был похож на те счастливые мгновенья в Кургане, из которого Евдокия Осиповна перебралась в Омск при наступлении красных. Теперь всё не то было. А скорее – как некогда в Казани. Петруша был весь изнервлен, истревожен, бросал отрывистые фразы о том, что творится на фронте, в тылу – и до отчаяния. И тревога его ей передавалась. Не знала, как поддержать, чем утешить родного человека. Не находилась. Нет, совсем всё не похоже было на Курган… Ни надежд на скорую победу, ни тихого снежного хруста за окном, ни треска печи с его весёлыми огоньками. А только тревога, осенняя изморось, комната, где и не поговорить в полный голос, потому что за стеной – хозяева. Ну, хоть посидеть рядом. Рука к руке. Глаза в глаза. Тепло родного человека ощутить. Наглядеться на него.

Пролетели очередные украденные у судьбы мгновенья. Заторопился Петруша. Ему перед фронтом ещё к дочери надо было, на внука взглянуть. И невольно кольнуло под сердцем это: дочь у него, внук. Слава Богу, конечно. А что-то скребло. Когда бы самой родить ему сына! Ещё в Кургане однажды проговорился Пётр Сергеевич, что жалеет, что нет у него сына. А ведь у Евдокии Осиповны сколько нерастраченной нежности в души накоплено было! Не то, что на сына, на пятерых сыновей хватило бы.

В тот приезд даже слова ласкового не вымолвил Петруша. Не о том мысли были. Но в глазах, но в прикосновениях читала Криницына, что любит по-прежнему. Просто слишком тяжело на душе, чтобы говорить. Не было нужных слов на языке, а потому на прощание потеплевшим голосом, будто вернувшись на миг издалека, прочёл, обняв, касаясь губами волос и уха:

– В моей стране спокойная река,
В полях и рощах много сладкой снеди,

Там аист ловит змей у тростника,
И в полдень, пьяны запахом камеди,
Барахтаются рыжие медведи.
И в юном мире юноша Адам,
Я улыбаюсь птицам и плодам,
И знаю я, что вечером, играя,
Пройдёт Христос-младенец по водам,
Блеснёт сиянье розового рая.
Тебе, подруга, эту песнь отдам,
Я веровал всегда твоим стопам,
Когда вела ты, нежа и карая,
Ты знала всё, ты знала, что и нам
Блеснёт сиянье розового рая…

Господи, как далеко был этот рай! Петруша уехал, и два месяца не было ни весточки от него. Евдокия Осиповна до последнего надеялась, что Омск удастся отстоять, что здесь дождётся она Петра Сергеевича, но всё выходило совсем не так.

В последние дни улицы города были запружены толпой. Во всём чувствовалась лихорадочная торопливость и страх. Одни пытались припрятать наиболее ценные вещи, другие спешно собирались уезжать. Оставались преимущественно те, кому бежать было некуда. На всех стенах расклеено было объявление коменданта города, что Омск сдан не будет, но уже каждый знал: правительство покинуло столицу. Правда, адмирал ещё оставался в городе, но уже не обнадёживало это.

Всё утро двенадцатого числа Криницына бесцельно бродила по улицам, протискивалась сквозь толпу, прислушивалась к разговорам, надеясь узнать что-то новое о положении армии. Вернулась домой лишь к полудню и увидела сидящего на лестнице человека. Со света в тёмной парадной глаза почти ослепли, а потому не сразу признала Кромина. А он, едва увидев её, вскочил, схватил за руку:

– Ну, наконец-то, Евдокия Осиповна! Я уже час жду вас! Ни вас нет, ни хозяев ваших. Боялся, что вы уехали куда-нибудь.

– Что-то от Петра Сергеевича? – спросила Криницына, подавив страх. – Он жив? Только одно скажите!

– Жив, насколько мне известно.

– Слава Богу!

– Евдокия Осиповна, давайте в дом войдём. Я порядком продрог, покуда вас ждал.

В квартире, при свете дня разглядела Криницына, что Борис Васильевич сильно похудел, и куда-то слетела его обычная вальяжная невозмутимость, оптимизм. Объявил без предисловий, не раздеваясь:

– Собирайтесь, бесценная Евдокия Осиповна, я за вами приехал. Через час наш поезд отходит.

– Простите, Борис Васильевич, я не совсем понимаю… Я не собиралась уезжать.

– Вы собирались красных дождаться? – Кромин вскинул голову. – Они будут здесь не позднее, чем через три дня!

– Но адмирал ещё здесь!

– Адмирал уезжает завтра. Это решённое дело.

– А вы не с ним?..

– Я выезжаю раньше, потому что надеюсь подготовить кое-что в Иркутске к его приезду туда.

– Но…

– Есть ещё вторая причина!

– Какая?

– Вы! – Борис Васильевич хлопнул мохнатой шапкой о ладонь. – Точнее-с, мой друг Тягаев. Пётр Сергеевич, да будет вам известно, уезжая на фронт, поручил вас моим заботам. Взял с меня обет торжественный, что если падение Омска станет неизбежным, то я о вас позабочусь и из города вывезу.

– И вы обещали ему?

– А вы думаете, у меня хватило бы духу отказать в единственной просьбе лучшему другу, уходящему на фронт? О Надиньке, слава тебе Господи, есть кому позаботиться. Юшины – люди умные и предприимчивые. А ваша судьба Петра Сергеевича весьма и весьма тревожила.

Тёплый лучик сердца коснулся. Всё-таки о ней он думал, уезжая на фронт, о ней заботился. Самый родной человек в мире, где он теперь? Как его найти в этом хаосе?

– Евдокия Осиповна, время не ждёт. Вы должны немедленно собраться и ехать со мной. Это воля Петра Сергеевича, поэтому, прошу вас очень, не раздумывайте и не отнекивайтесь, иначе… – Кромин развёл руками, – мне придётся увезти вас силой.

– Я буду готова через полчаса.

Если Омск сдавали, то оставаться в нём не было больше смысла. Нужно было отступать со всеми. И искать Петрушу! Евдокия Осиповна собралась скоро, написала записку хозяйке и отправилась вместе с Борисом Васильевичем на вокзал.

Город казался ещё более взволнованным, чем утром. Люди шли, бежали, ехали. Формировались целые обозы, вереницей текущие к станции. Вдоль дороги валялись трупы лошадей, некоторые уже ставшие скелетами – в последнее время улицы города вовсе престали убирать. Бродили и лошади живые, брошенные хозяевами. Смотрели тоскливо и оголодало, не находя себе пищи.

– Последний день Помпеи, – мрачно изрёк Кромин. – Все стремятся спастись из гибнущего города.

Они разместились в теплушке, точнее в части её, отделённой от остального салона, занятого другими людьми, шторой. Через четверть часа Омск остался позади…

За два дня, прошедшие с той минуты, многое страшное и невообразимое предстало глазам Криницыной. На железнодорожных путях стояли замершие составы, пассажиры которых на себе таскали воду для паровозов, чтобы запустить их. Многие не имели тёплых вещей. По-видимому, покидая родные дома ещё месяц-другой назад, не предполагали, что это надолго. Ехали, как на прогулку, и, вот, встали. И обгоняли их бесконечные обозы, части отступающей армии, оборванной и голодной. О, французы на Смоленской дороге представляли собой, должно быть, менее жалкое зрелище!

На второй день пути у одной из станций поравнялись с санитарным поездом. Ничего более жуткого Евдокия Осиповна не видела за всю свою жизнь. Площадки, прицепленные в хвосте поезда, были забиты голыми, окоченевшими телами, связанными между собой, как вязанки дров. Это были те, кого пожрал дорогой ненасытный тиф и кого некому, некогда и негде было хоронить… Из самого поезда выползали ещё живые, но уже мало походившие на живых солдаты. Оборванные и грязные, истощённые до подобия скелетов, с безумными, небритыми лицами, они ползали по грязному снегу между поездами, ели этот снег, скреблись в двери поездов, молили отчаянно:

– Хлеба! – и тянули руки, от которых остались лишь кости, обтянутые синеватой кожей.

И кто-то сердобольный бросал им какую-то снедь, как голодным псам, и они, в страшном жару, в тифозном бреду не помнящие себя, как звери хватали эти куски и проглатывали. О, лучше бы не было этого милосердия! Истощённый организм не принимал этой еды. И,

вот, уже крючились несчастные в предсмертных муках, крича и стеная, и смерть была милосердна к ним…

Это были солдаты ещё недавно победоносной армии, очистившей от красной нечисти всю Сибирь, дошедшей почти до самой Волги! Тянулись руки, блестели обезумелые, жуткие глаза, извивались тела на холодной земле, хрипело и стонало за окнами:

– Хлеба!..

Поезд стоял недвижим. На подножке одного из вагонов появилась фигура, отдалённо напоминающая сестру милосердия, но гораздо более похожая на крючащихся на земле несчастных. Она, это даже из окна было видно, сама была больна, в жару, едва держалась на ногах. Озиралась беспомощно. Наконец, ступила на землю, срывая с себя сбившуюся косынку, сделала несколько шагов и упала навзничь.

Кромин выскочил из вагона. Из окна Евдокия Осиповна видела, как он склонился к сестре, пощупал пульс, перекрестился. Уже мертва она была, разделила до конца страшную судьбу своих больных. Борис Васильевич решительно вошёл в мёртвый поезд. Криницына не усидела и вышла следом за ним. К ней со всех сторон тотчас устремились молящие взгляды, костенеющие руки и вой:

– Хлеба!!!

Евдокия Осиповна ступала по снегу, между ползающими полумёртвыми людьми, с мукой понимая, что ничем не может им помочь. Она уже приблизилась к страшному эшелону, но уже навстречу ей спешил Кромин с опрокинутым, растерянным, потрясённым лицом. Остановил решительно:

– Не надо ходить туда вам, Евдокия Осиповна! Не надо! Видеть этого не надо! – по его взволнованному до дрожи голосу Криницына поняла, что ей, в самом деле, не стоит видеть того, что увидел в этом кошмарном поезде он.

– Борис Васильевич, сколько же таких эшелонов на путях стоит? – вырвался вопрос. – И это и есть наше планомерное отступление?.. Ведь все эти несчастные, и те которые лежат на задних платформах, они же ещё совсем недавно были живы, веселы, они все – чьи-то сыновья, братья, мужья. И кто-то ждёт их, веря, что они спасутся, не зная, как они брошены, какая ужасная смерть их ждёт. Борис Васильевич, как же это могло статься?

Что мог ответить ей Кромин? Он и сам бы понять хотел, как? Он и сам представить себе не мог совсем недавно, до чего доведена армия. Только и начал понимать в последние два месяца, когда на фронт зачастил. Адмирал назначил его своим уполномоченным по вопросам снабжения. Поезжайте, следите, пресекайте, налаживайте… Что ж, сам напросился Борис Васильевич на эту неблагодарную работу. Назвался груздем – будь добр, полезай в кузов. Делать нечего, полез. Мотался, как заведённый, по всем фронтам и осознавал свою полную бесполезность в создавшихся условиях. Сибирская (первая) армия, как боевая единица, перестала существовать. Её ряды поредели настолько, что при очередном наступлении красных генерал Пепеляев вынужден был броситься в бой сам вместе со своим штабом, так как больше некого было выслать. И отбили атаку противника, но на том и наступил предел. Дитерихс приказал отводить первую армию в тыл. Лишь ощутив непосредственную угрозу себе, тыл вспомнил о своих обязательствах перед армией, вспомнил о полных складах вещей, столь нужных ей (теперь горели они синим пламенем в Омске), стал судорожно грузить и посылать на фронт эшелон за эшелоном. Но уже не могли они, долгожданные, добраться до фронта. На восток сплошным потоком шли поезда с беженцами и ранеными, а движение в обратном направление оказалось почти остановленным. Эшелоны идущие на запад неделями простаивали на станциях и лишь затрудняли эвакуацию. А всего хуже было то, что великий русский путь – железнодорожная магистраль, протянувшаяся через всю Сибирь – оказалась в нерусских руках, в полной власти чехов. Ими захвачено было громадное число составов (на сорок тысяч подлецов – двадцать тысяч вагонов!), в которых с комфортом раз-

мещались они сами и награбленное ими имущество. Всё прочее должно было плестись в хвосте их эшелонов, ожидать своей очереди. Когда же это выпустили из рук ключевой объект – железную дорогу?! А ведь и раньше с омерзением замечал Кромин, как «дорогие союзники» нахально забирают себе лучшие поезда, составленные из лучших вагонов, с кухнями, ванными и электричеством. Эти поезда были оборудованы с роскошью, которая была бы недопустима в их собственных странах. Распоряжение всеми салон-вагонами присвоил себе Жанен со своим штабом: присвоил и выделял их только иностранцам! Лишь японцы в отличие от европейских «друзей» вели себя достойно и скромно, и Борис Васильевич вслед за адмиралом проникся искренним уважением к этим суровым и честным самураям.

«Союзникам» уже давно стала надоедать их миссия. Уже хотели, разрабатывали план примирения белых с большевиками, приглашали на конференцию по этому предмету. Александр Васильевич отказался гневно: «Не может быть никакого перемирия между нашими войсками, защищающими существование нашей Родины – России, защищающими жизнь, благополучие и верование всего русского народа, и красноармейскими шайками изменников, погубившими свою родную страну, ограбившими всё народное имущество, избивающими без жалости население, надругавшимися над верой и святыней, не может быть соглашения между нашим правительством, отстаивающим право, справедливость и счастье народа, и засевшими в Святом Московском Кремле комиссарами, которые задались только одной целью – уничтожить нашу Родину – Россию и истребить наш народ».

А с наступлением развала ощутили господа «союзники» полную вседозволенность и безнаказанность. В конце сентября их представители потребовали удалить ряд русских отрядов и бронированных поездов, прибывших в последний месяц, из Владивостока и не приводить новых без разрешения командования союзных войск. И не для этого ли только и явились эти лицемерные «спасители» в Россию, чтобы Владивосток к своим лапам прибрать (давненько зарились)? Адмирал, само собой, требований нахальных не удовлетворил, а отправил приказ начальнику Приамурского военного округа: «Повелеваю вам оставить русские войска во Владивостоке и без моего повеления их оттуда не выводить. Интересы государственного спокойствия требуют присутствия во Владивостоке русских войск.

Требование о выводе их есть посягательство на суверенитет права Российского Правительства.

Сообщите союзному командованию, что Владивосток есть русская крепость, в которой русские войска подчинённые мне и ничьих распоряжений, кроме моих и уполномоченных мною лиц, не исполняют.

Повелеваю вам оградить от всяких посягательств суверенные права России на территории крепости Владивосток, не останавливаясь, в крайнем случае, ни перед чем».

Не отстали от ушлых заправлял и «братья»-чехи. Подсуетились тут как тут с меморандумом: «Охраняя железную дорогу и поддерживая в стране порядок, войско наше вынуждено сохранять то состояние полного произвола и беззакония, которое здесь воцарилось. Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснётся весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрел без суда представителей демократии, по простому подозрению в политической неблагонадёжности, составляют обычное явление, и ответственность за всё перед судом народов всего мира ложится на нас: почему мы, имея военную силу, не воспротивились этому беззаконию». Описывали свои собственные «подвиги» и приписывали их без зазрения совести русским военным органам, чья вина состояла в том, что допустили «братьев» до карательных операций в районах восстаний, чтобы не снимать с фронта свои части. А половину и вовсе придумали для того, чтобы вескости придать в глазах «цивилизованного мира». Русские деревни оный мир не сильно встревожат, а, вот, «расстрел представителей демократии»… Куда там Ильичу с Троцким до кро-

вавых колчаковцев! А всего-то цель была у этой гнусной бумажонки – получить разрешение на выезд из этой страны, а чтобы без сучка и задоринки он проходил, чтобы предоставлена им была «свобода к воспрепятствованию бесправия и преступлений, с какой бы стороны они ни исходили». Читай: дозвольте нам защищать украденные нами поезда от частей отступающей армии, ежели она, устав месить грязь, захочет всё-таки заполучить в них места. Есть ли предел подлости?!

Не могло не быть связи между восстанием во Владивостоке (а там без Гайды не обошлось) и этим меморандумом. И адмирал сразу угадал её, угадал и смысл этих акций:

– Хотят добиться права вмешательства своей вооружённой силы в русские дела и избрали своим орудием политическое интриганство и шантаж. Могли хотя бы более прилично вести себя.

А им в приличиях нужды не было. Они уже смотрели на омское правительство, как на отыгранную карту…

«Меморандум» вызвал большое возмущение в патриотических кругах. В них, вообще, многое вызывало возмущение. Особенно, в кругах монархических. Доходило до серьёзных скандалов. В салоне генеральши Гришиной-Алмазовой, муж которой недавно был убит красными, когда направлялся с Юга обратно в Сибирь, везя какие-то бумаги от Деникина, которые, к счастью, успел уничтожить, во время жаркого спора застрелили офицера. Дело замяли, но салон был закрыт.

Сдавали, сдавали нервы у всех. И было отчего! В тылу и по пути отступающей армии множились восстания. Из Минусинска какие-то страшные легенды доходили о банде Щетинкина. Там, в области той, жили преимущественно старосёлы, и не было бедняков. А поверили проходимцу, что за Царя идёт! Призывал их бить белогвардейцев и большевиков! И уже в действующую армию лазутчиков понабилось, агитировали солдат: перебейте своих офицеров, а мы комиссаров перебьём, выдайте нам Колчака, а мы вам – Ленина. Развешивали уши! Чем не дело – баш на баш! Замиряться надо! Понужай!

Это словцо, кем-то брошенное, «понужай» – стало лейтмотивом всего отступление. Как с Германской бежали – «крути, Гаврила!», так здесь – «понужай!». Отступали истомлённые, частью разложившиеся, деморализованные части, поглатывая своей бесформенной массой боеспособное ядро. Впереди красная армада. По бокам – банды. На железной дороге – чехи. Позади – прогнивший тыл. Безнадёжье охватывало! Читал это безнадёжье Кромин в глазах и понимал: Омска не отстоять. Ещё в сентябре он надеялся на лучшее, он не одобрял плана Дитерихса об заблаговременном оставлении столицы, но, покочевав по частям разгромленной армии понял, что надеждам не суждено оправдаться.

Тут-то и настигло Бориса Васильевича известие об отставке Дитерихса. Ещё недавно обрадовался бы. Не любил Кромин этого религиозного фанатика. А к тому казалось ему, что Михаил Константинович нарочно старается всё делать наперекор Верховному. И сам Александр Васильевич жаловался, что доходит генеральская самостоятельность до того, что приходится напоминать ему, что лицо решающее всё-таки пока ещё Колчак. Упорные слухи ползли, будто бы монархические круги хотят сместить адмирала и поставить на его место Дитерихса. Сам бывший заговорщик, Борис Васильевич не мог от этой информации отмахиваться. И подозревал, и не доверял Главнокомандующему. И находил, что Михаил Константинович сознательно подводит адмирала. Может, просто из-за личной неприязни. Уж очень разные были люди, и никак не уживались между собой. Дитерихс с его фанатичным монархизмом должен был, положительно, видеть в Колчаке демократа, отступившего от светлых идеалов монархии. Для него Россия без монархии немыслима была. А Александр Васильевич готов был любую принять её, лишь бы то Россия была, а не Совдеп.

Вот уж не думал Кромин, что огорчится отставке генерала-мистика… А приходилось. Нельзя же так запросто коней на переправе менять! И какова замена! Генерал Сахаров! Кто

таков? Что о нём известно было? Успел побывать в большевистской тюрьме. Монархист не меньший, чем Дитерихс, только что не в такой степени религиозен. Как военачальник ничем особым не отличился. Но с амбицией. И, говорили, изрядный оптимист. Весь план, уже в действие приведённый, разом насмарку пошёл! Эвакуация Омска, отвод армии… Нельзя же метаться так, распыляя скудные силы!

Адмирал изначально против воли принял план Дитерихса, и немного усилий потребовалось, чтобы убедить его пересмотреть решение. И общественность гудела. И пришла целая делегация Экономического совещания во главе с Гинсом. Ещё до отъезда на фронт у Кромина побывал Юшин. Шумел, горячась, что Омск оставлять нельзя ни в коем разе. Ну, с ним ясно: у него с тестем всё имущество сгорало безвозвратно при намеченном плане. А Гинсу почто не нялось? Сами ругали «союзников» подлецами и сами же боялись, как «союзники» посмотрят… А тут ещё Сахаров, как на беду, приключился. Он в отличие от Михаила Константиновича к адмиралу всей душой был расположен и, должно быть, желая ободрить, отнёсся, что не так всё безнадёжно, что есть шанс. И подумать не мог, чем его неосторожность обернётся. Как огонь на солому попал! Уцепился Верховный за эту надежду, как утопающий за соломинку. И снял Дитерихса, который тотчас и убыл во Владивосток. И назначил Сахарова, которому на попятную идти поздно было.

Чего не мог сначала понять Борис Васильевич, так это, почему убеждённый в своей правоте Дитерихс не попытался отстаивать свою точку зрения? Ведь прямой долг был его, если считал, что судьба армии от реализации его плана зависит. Повернулся и уехал гордо. Оскорбился. Нашёл время! А причина-то не та же, часом, была, что и у Будберга? Этот старый ворон всегда предпочитал свои мрачные прогнозы высказывать в узком кругу, но не стремился убедить в чём-либо Верховного, к которому относился явно пренебрежительно. Должно быть, себя ощущал человеком умнейшим. И это сознание весьма его гордыню утешало. Прогнозы его, впрочем, действительно, оправдывались. И Кромину казалось, что Будберг испытывает при этом определённое злорадство, что, вероятно, облегчало огорчение от провала дела. Будберг убеждён был, что Омск надо оставлять. Он давно говорил об этом. Но не пошёл с докладом к адмиралу, не воззвал, не изложил аргументировано, а тешил себя собственным даром предвидения и отсутствию его у других. Может, всем им в глубине души и хотелось, чтобы больше ошибок сделал Верховный, чтобы рухнул авторитет его? Да только вместе с ним гибло дело, а это словно и не понимали – «прозорливцы»… Причина была та же, что и у генерала Болдырева, покинувшего страну из-за нежелания подчиниться Колчаку (а мог бы быть Главнокомандующим…). Гордыня. Честолюбие, которое заставляло чувствовать себя несправедливо обойдёнными. Вот, что оказалось важнее Дела. Важнее России. Эсеры били Колчака слева. Монархисты подталкивали справа. И не на кого опереться было… А ещё были те, кто молчал не по гордости, а потому что – не спрашивали. Знали про себя и молчали, зная своё место, не спеша высовываться. Спросят – тогда пожалуй. А самим – зачем соваться? А ещё… А ещё – сколько раз сам Кромин промолчал? Сколько раз наливался язык свинцовой тяжестью и не поворачивался выговорить нелицеприятную истину, тяжёлые вещи и без того угнетённому Верховному? Окажись он в Омске в решающий момент, смогли бы оспорить господствующее мнение? И более того – поддержать (скулы сводило от мысли) Дитерихса? С Будбергом? Напомнить знаменитую фразу севастопольского героя адмирала Корнилова: «Москва горела, но Россия от этого не погибла». А ведь промолчал бы тоже… Слава Богу, в этот раз решилось всё без него, и он взаправду не мог повлиять, и хоть в этом совесть чиста была!

Вся эта чехарда едва не повлекла гибель всей армии. И в том, что спаслась она, не было заслуги командования, а только – природы, Господа Бога, умилостивившегося над страдальцами. На пути отступающих войск встала непреодолимая преграда: ещё не покрывшийся льдом Иртыш. Сзади наседали красные, впереди лежала река, которую не было возможности

перейти. Задержись тёплая погода на несколько дней, и катастрофа была бы полной. В те дни Александр Васильевич не мог думать ни о чём другом, кроме как о судьбе армии. Весь уйдя в свои запавшие, блестящие от бессонных ночей глаза, он словно хотел достигнуть взором берега Иртыша, увидеть, что там происходит, он всем своим существом, каждым нервом был там, вместе со своей армией. Но Иртыш – не «союзники». Иртыш не предал. Ударили морозы, и река стала замерзать, и в последний момент армия успела переправиться.

Омск уже не надеялись удержать. Защиту обречённого города поручили молодому, но весьма грамотному и смелому генералу Войцеховскому. Кромин встречался с ним однажды. Отметил глубокую сосредоточенность, серьёзность красивого, породистого молодого лица, затенённого облаком печали. Он понимал, что не сможет отстоять города, но готов был стоять до конца. И того же требовал от своих подчинённых. Генерал Гривин отказался подчиняться приказаниям, что грозило подорвать дисциплину в войсках. Войцеховский вызвал бунтовщика к себе, уговаривал вспомнить о долге, но это не возымело действия. Многие решительные и жёсткие командиры в таких случаях терялись, и это приводило к смущению в войсках. Интеллигентный Войцеховский просто застрелил предателя, о чём немедленно подал рапорт командующему. Поступок генерала был признан правильным, и по указанию Сахарова на улицах города расклеили объявления о «подвиге генерала Войцеховского». Кромина при виде этих «афиш» передёрнуло. Такие прискорбные случаи следовало бы скрывать, а не похваляться ими перед всем народом, создавая почву для дополнительных толков.

Десятого ноября Омск покинуло правительство, отправившееся в Иркутск. Председатель Совета министров Пепеляев (назначили нужного человека на нужное место – но как же запоздало!) желал остаться с Верховным, но тот приказал ему уезжать. А сам оставался. Адмирал должен был покинуть свой корабль последним… Его уговаривали уехать, он отказывался, говоря, что хочет разделить судьбу своей армии. Каким образом, если армия шла пешком, а ехать предстояло поездом? Но здесь эмоции брали верх над здравым смыслом, и бесполезно было настаивать.

Кромин не находил себе места в эти последние дни. Его тяготили два долга. Долг перед другом и долг перед адмиралом. Честь требовала до последнего оставаться с Александром Васильевичем. Хотя бы потому, что не без его, Кромина, руки взвален был на него страшный крест власти, и, значит, нужно разделить этот крестный путь. И никаких сомнений не было бы, за свою судьбу мало страшился Борис Васильевич, но было ещё обещание, данное Петру. Позаботиться о его belle dame. Это нужно выполнить было. Можно, конечно, было просто посадить Евдокию Осиповну на поезд и отправить, но слишком знал Кромин, на что стали похожи дороги. Одну отправлять никак нельзя. Найти надёжного сопровождающего? Где его найдёшь! Все надёжные, кого знал – на фронте. А здесь – только на себя и надежда. Значит, ехать самому. А как же оставить адмирала?

Двенадцатого утром явился к Александру Васильевичу. По городу шушукались о нём – роковой человек! На него и впрямь, как в яму, всё сыпалось. И не только в политике, на фронте. Ещё в сентябре в отсутствии Колчака в его доме прогремел взрыв, произошедший вследствие неосторожного обращения с гранатами. Несколько солдат караула погибли. Не успели отстроить и освятить новую караульную, как в гараже возник пожар. В тот день лил нескончаемый дождь, сопровождаемый шквальным ветром, и среди этой беспросветности и сырости полыхало огромное зарево, вокруг которого суетились солдаты и пожарные. Адмирал, неподвижный и мрачный, стоял на крыльце и наблюдал за тушением пожара, и отблески пламени освещали его бледное, измученное лицо, отражались в чёрных, бездонных глазах.

– Вот, Борис Васильевич, дотянули мы до годовщины, – хмуро сказал Колчак.

Вспомнил Кромин, о чём и забыл, закрутившись: через несколько дней же – годовщина переворота!

– С «отличными» результатами подошли к ней, – травил нещадно собственную душу, сохраняя внешнее спокойствие. – Деникин Москвы не взял и отступает, Юденич отброшен от Петрограда, а мы… Знаете, дорогой Борис Васильевич, какая смерть самая гнусная? Смерть от рук «товарищей»! Словно живьём быть поглоченным свиньями…

– Александр Васильевич, если удастся закрепиться на линии Новониколаевск-Томск, то, перезимовав, мы вновь сможем перейти в наступление, – фальшиво прозвучало, словно Сахарова из себя разыгрывал, но в безнадёжных глазах адмирала блеснула искра. Но и погасла тотчас.

– Все предали нас. Все бегут. Все думают, будто я держусь за власть, а я отдал бы её с радостью тому, в кого поверил бы. Где такой человек?

Не так ли отрёкся ошельмованный, преданный, разуверившийся во всех Император? И прав был Пётр, когда так рьяно доказывал Кромину его неправоту?

– В том, что произошло, нет вашей вины, – зачем-то сказал.

– Вы ошибаетесь, Борис Васильевич, – голос адмирала стал жёстким. – Побеждённый виноват всегда! Запомните это. Не судят только победителей, а побеждённым – горе! И это справедливо!

– Когда вы намерены покинуть город?

– Не раньше, чем убежусь в том, что его покинули все, кто этого желал. Я не желаю, чтобы вдобавок ко всему, что обо мне говорится, присовокупили ещё и то, что я бежал, бросив людей, бросив армию на произвол большевиков. Этого не будет!

Адмирал оставался на корабле, так и думал Кромин. Значит, и ему надлежит остаться с ним. Чётко явилось это убеждение. А для Евдокии Осиповны найти хорошего сопровождающего. Всего лучше, какую-нибудь порядочную семью. Не бросят же её, любимицу публики, на произвол судьбы. Так и сделать. Решил и на душе сразу спокойнее стало, но в ту же минуту Верховный из обретённого равновесия вывел:

– Вы, Борис Васильевич, уезжайте сегодня.

Изумился Кромин:

– Как же так? А не могу, Александр Васильевич. Как же я поеду, если вы ещё здесь?

– Вы приедете в Иркутск раньше меня, успеете осмотреться и потом доложите мне обо всём, когда я приеду. Кому ещё я могу доверять?

– Александр Васильевич, я прошу вас позволить мне остаться и сопровождать вас.

– Не позволю. Вы должны выехать сегодня же. Это приказ.

Приказ есть приказ… Значит, само собой решилось: и долг перед другом выполнить, и не подводить адмирала. Но точило что-то. Омрачился. Александр Васильевич подошёл, крепко взял его за руки, посмотрел тем тёплым взглядом, которым всегда так располагал людей:

– Прощайте, друг мой.

Впервые за всё время другом назвал… Ком к горлу подкатывал, хотя никогда не был Кромин чувствителен. Нет, слеп он был тогда, год назад. Слеп. Разве мог стать жёстким и грозным диктатором этот рыцарь с его болезненной щепетильностью, впечатлительностью, ранимостью, его чуткостью к людям, его мягкостью? Эта мягкость так старательно скрывалась им под маской суровости, но все (особенно проходимцы) очень быстро отгадывали её, пользовались ею. Для Колчака люди никогда не были средством для достижения цели, а оставались людьми. А те, с которыми приходилось работать, быстро делались близкими, с которыми трудно потом разрывать было, к которым прикреплялся душой. Он не мог лгать сам и не терпел лжи в других. Он мог быть и был решительным и твёрдым в вопросах, своё мнение по которым уверенно считал верным. Но это был – флот. Это была – наука. Но не политика. И не сухопутные операции. Здесь неизбежны были влияния оказавшихся рядом, а кто оказывался? Старшие начальники, наиболее знающие слишком высоко ставили себя,

чтобы напрашиваться. Младшие готовы были, но не имели опыта. И проходимцы готовы были. Льстить, лгать, потакать, играть на чувствительных струнах. Колчак на протяжении всего года своего правления так и остался один, как на том вечере, на котором он ещё не ведал, что его судьба решается за его спиной. И Кромин не смог ничем помочь, оказавшись и сам беспомощным в решении вставших вопросов. Почему он так уверен был, что Александр Васильевич идеальная кандидатура на роль диктатора? Потому ли, что не видел других? А диктором не мог стать романтик, каким являлся адмирал. Что были его полярные экспедиции? Его увлечённость восточными военными теориями, любование старинным самурайским мечом в отблесках пламени? Его настойчивое желание делить тяготы своей армии, из-за которого он зимой принимал парады в одной шинели и слёг с воспалением лёгких? И это теперешнее нежелание покинуть своей столицы до последнего часа? Романтизм, чистой воды романтизм! И идеализм. Романтизм и идеализм – прекрасные черты, но преобладание их в характере опасно для политика, для человека, облечённого властью.

Только в прощальную минуту всё это отчётливо осознал Кромин. Посмотрел мутнеющими от подступающих слёз глазами на адмирала, сжал ответно его руки:

– Прощайте, Александр Васильевич! И простите меня!

Тем же утром выехал с Евдокией Осиповной из города. А Колчак, как узналось, отправился на другой день. И в тот же вечер Омск был охвачен огнём, и отблески его напоминали те пожары, которые преследовали адмирала в последние месяцы.

Смутно было на душе у Кромина. Будто бы ледяная длань сердце сдавила. А поезд плёлся еле-еле, часами простаивая на станциях и в открытом поле. Такими темпами – сколько ж до Иркутска добираться? И поезд Верховного так же плестись будет?.. Почему же раньше не уехали! Уже бы были там! Уже бы работа шла! Изнывал от вынужденного бездействия, от оторванности от своего адмирала, которого всё-таки нельзя было оставлять, даже несмотря на приказ!

А тут ещё проклятый этот эшелон… Дёрнул чёрт в вагон подняться. В темноте сперва даже не сообразил, почему это пол под ногами странно шевелится – а это вши были. Передёрнуло. И сразу удушливым смрадом окутало. На грязных койках лежали люди: уже окоченевшие и ещё живые, молящие о помощи – вперемешку. И поднялся навстречу пожилой врач. Тоже больной, но ещё не в бреду. Махнул слабой рукой, прошептал:

– Уходите отсюда! Вы не поможете ничем!

Как индульгенцию дал! Чуть не опрометью выскочил из вагона от этой мерзостной картины, а навстречу – belle dame с глазами расширенными и вопросом на прекрасных устах:

– Как же допустили?

Увлёк её обратно в теплушку. Слава Богу, как раз тронулся эшелон. Но ненадолго. Получаса не прошло, как опять встали, и минут через сорок выяснилось, что – насовсем. Паровоз сломался, а другого не достать – все чехи позабирали. Приехали! И куда теперь? Хорошо ещё сам с Евдокией Осиповной поехал, а то как бы Петру в глаза смотрел потом…

А пассажиры уже бежали в соседние деревни – нанимать подводы. Ну, что ж, делать нечего – придётся присоединяться к пешему потоку. Благо одних саней достанет при скудости скарба. У Евдокии Осиповны, к кочевой жизни привычной, всего один чемодан был, и у Кромина – тоже. Помог ей выйти из вагона, наказал ждать себя и заспешил в деревню, пока там ещё не всех лошадей расхватали.

Сани с лошадью Борис Васильевич раздобыл неожиданно легко. Ещё и крупой на дорогу запасся. Возвратившись к поезду, он застал Евдокию Осиповну к компании живого мертвеца. Этот, правда, живее был, чем те, из эшелона санитарного, но тоже без слёз не взглянешь: сидел, весь дрожа, на снегу, до костей иссохший, оборванный, обмороженный, плакал беззвучно. И Криницына вокруг него, что сестра милосердная, суетилась. Уже и пуховым

платком своим шею ему укутала – не пожалела. Завидев Кромина, шагнула к нему, заявила решительно:

– Борис Васильевич, этот человек поедет с нами!

Сама ошалоумела, и его хочет с ума свести…

– Евдокия Осиповна, в здравом ли рассудке вы? Он же вот-вот умрёт!

– Он выживет! Я лучше знаю!

– Послушайте…

– Нет, это вы послушайте! Неужели вы не понимаете, что на его месте мог оказать кто-то из наших близких?! Кто-то из них также тянул бы руки, моля о спасении, а все отворачивались бы, спасая себя!

– Вы же видите, что таких, как этот несчастный, сотни, если не тысячи… Мы не можем помочь всем!

– Вижу. Мы не можем помочь всем, Борис Васильевич. Но давайте поможем хоть одному человеку. Он же не к другим подошёл, а ко мне. Понимаете? Ко мне! Значит, я теперь перед Богом за него отвечаю. Если вы откажетесь взять его, то и я не поеду.

И ведь не поедет. Правду Пётр говорил: такая хрупкая с виду, а сколько силы и решимости! Ох, удружил друг любезный! Всё-то на кроминскую голову… Махнул рукой: с сумасшедшими не поспоришь. Огляделся кругом. По протоптанному тракту вереницей ползли беженские обозы. Кого тут только не было! Престарелые сановники и интеллигентные профессора, нежные барышни, благодетельные матроны, дети… Вон, проехал священник со всей фамилией: перепуганные лица его и матушки… Вся Россия в этом потоке уходила невесть куда, спасаясь от красной лавины. Так, должно быть, в древности бежали от батыевых полчищ. А вдоль дороги лежали трупы лошадей. И людей. А на одном – тулуп неплохой был. Подошёл Кромин решительно, стал, внутренне содрогаясь, снимать. Нет-нет, это не мародёрство, это попытка спасти жизнь другому… Это же не для себя…

– Господи, Борис Васильевич, нельзя же! Что вы делаете?! – испуганно воскликнула Криницына.

– Можно, Евдокия Осиповна. Вы же не хотите, чтобы этот несчастный, у которого нет ничего, кроме рваной шинельки, окоченел в пути?

Потупилась. То-то же. Подошёл Кромин к нежданному попутчику, нахлобучил на него тулуп, ухватил охапчиво (лёгок он был, как младенец!), усадил в сани. Тот прошептал что-то обмёрзшими губами. Должно было это «спасибо» обозначать. Может, и права belle dame, нельзя же живую душу подыхать оставить, как собаку. Так и самого могут однажды… Помог и ей усесться, впихнул два чемодана и узел со снедью, сам – за кучера.

– Н-но! Понужай!

Тронулись сани, а Саша Колокольцев всё не мог поверить своему счастью. Да ещё и не осознавал его вполне затуманенным рассудком. Только чувствовал тепло от накинутого на него тулупа и тончайший аромат духов от пухового платка, которым ангел обернул его шею…

Саша Колокольцев был из тех юнкеров, которые ещё в декабре Семнадцатого восстали против большевиков в Иркутске. Семья Колокольцевых издавна проживала там, занимаясь торговым делом. Отца Саша худо помнил. Помер родитель, тяжкой хворобой замученный, во цвете лет, когда младшие сыновья его, Саша и Юрик, ещё совсем малы были. Запомнились похороны. В Тихвинской церкви отпевал папеньку отец Дамиан, красивый, густоголосый священник, крестивший здесь же Сашу, его братьев и сестру. Папенька лежал в гробу иссохший, пожелтевший, и так странно было, что он, всегда сильный, весёлый, громогласный и деловитый, вдруг стал таким. И заплаканная мать подвела младших детей для последнего целования. Саша помнил, как поцеловал отца, помнил, что пахло от него воском, помнил,

что так взволновался тогда, что упал в обморок прямо в церкви, и его отнесли домой. То была первая горькая утрата в его жизни. Если бы последняя!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.